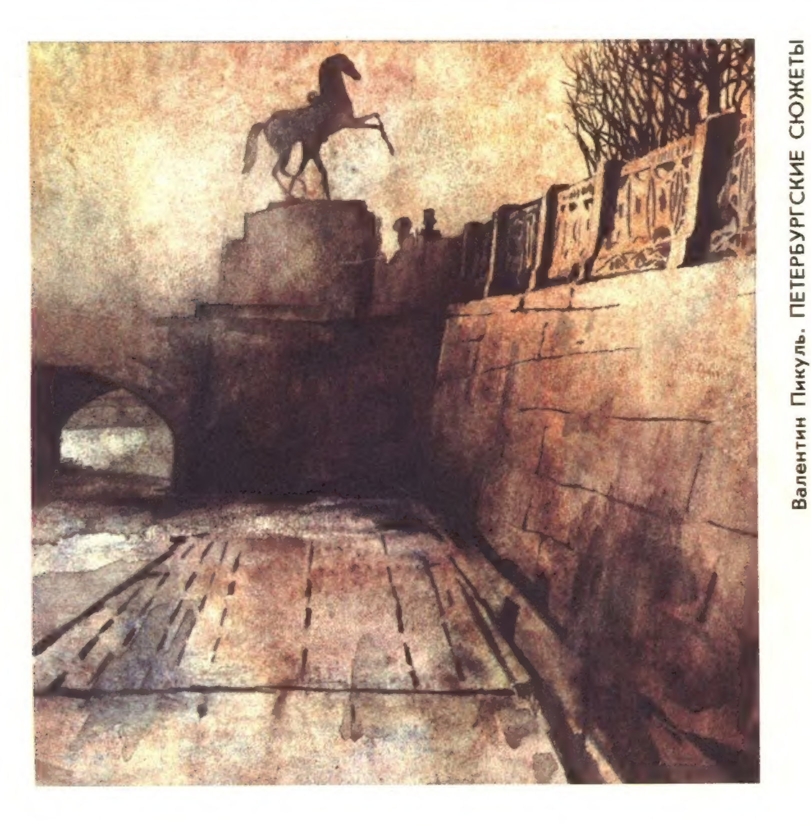
ISSN 0320—6858

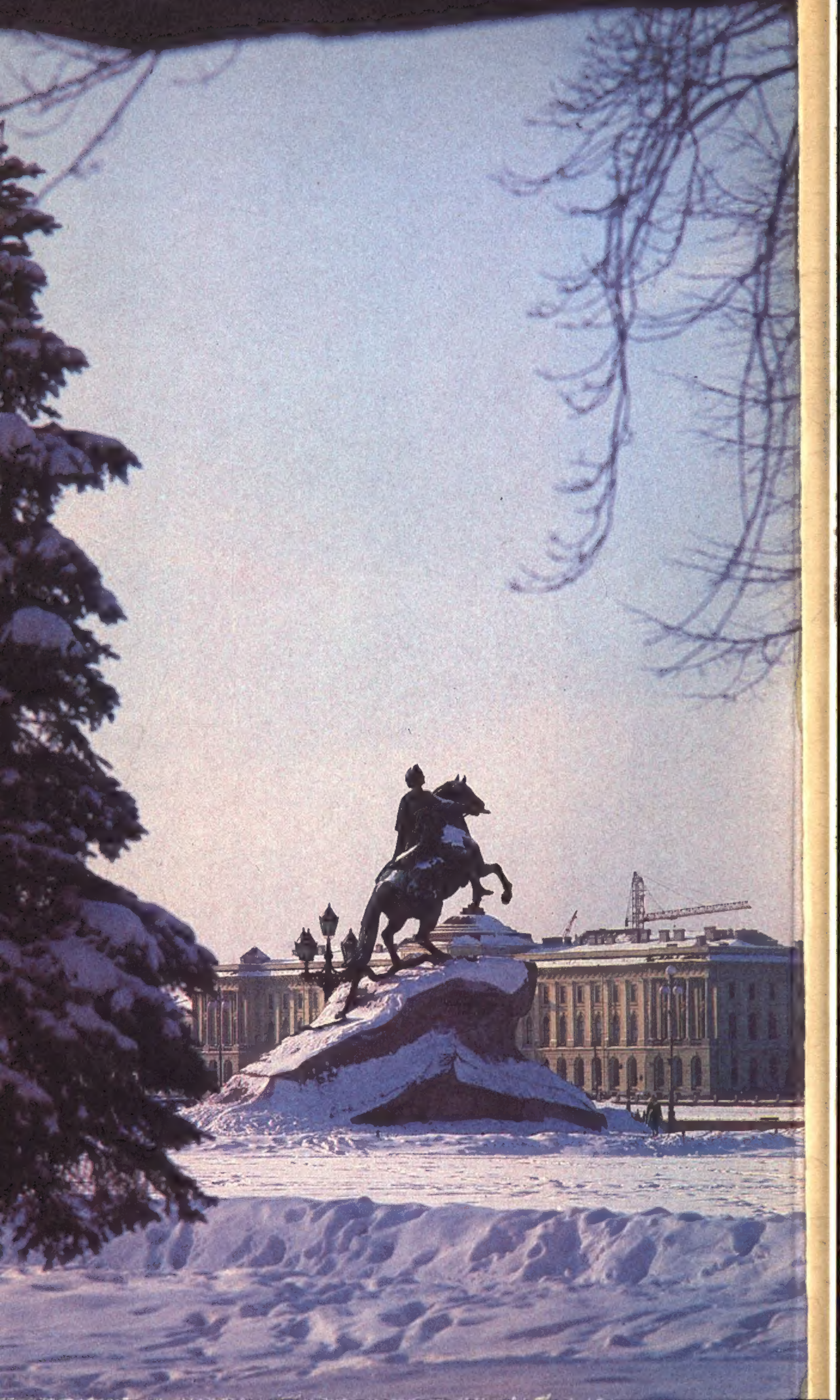
'88 АВРОРА



Валентин Пикуль. ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЮЖЕТЫ

В НОМЕРЕ:

12



Издается
с июля 1969 года

АВРОРА

12-1988

Общественно-политический
литературно-художественный
ежемесячный журнал
ЦК ВЛКСМ
Союза писателей СССР
Союза писателей РСФСР

ЛЕНИЗДАТ

СОДЕРЖАНИЕ

На первой странице обложки — рисунок Валерия Трилесского

Слева — фото Киры Жариновой

Художественный редактор В. Бабанов
Технический редактор З. Оганова
Корректор Т. Княжицкая

Глеб ГОРБОВСКИЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

(1956 — 1988)

□

Д. С. Лихачеву

В Комарове, где воздух брусничный,
а деревья, как тени друзей,
я встречал эту светлую личность
и тянулся к ней совестью всей.
Нам эпоха лицо исказила.
Память никла, от крови слепа.
Единила нас высшая сила! —
Незабвенной России судьба.
Было время больным, обреченным,
на ветру коченели умы.
Но изящная мысль Лихачева
возникала свечою из тьмы!
Прожигала неверья поземку,
разгребала забвенья бурьян,
освещала родные потемки
в глубину — до истоков славян.
Просвещенная совесть не ропщет,—
беспечальная цель у нее:
быть не ключником памяти общей,
а — хранителем правды ее.
Комарово... Поет электричка,
ниже — пляшет морская вода.
И долбит энергичная птичка
ствол сосны, как считает года.
Мы уходим в былое, как в пламя,
будем грезить до Судного дня,
в час, когда просвещенная память
извлечет наши сны — из огня.

□

Я должен был родиться журавлем,
но по ошибке — или по улыбке! —
явился в мир в обличии своем,
чтоб досаждать тебе — колючей рыбке.
Порою забываю, кто я есть:
машина, птица, человек уставший?
Так хочется понять: зачем я здесь,
ни дьявола, ни бога не видавший?
Истаивает в сердце вещество,

что делало осмысленным пространство
вокруг меня... Но только и всего —
вокруг меня! — блаженное тиранство.
Я помню, как в далеком октябре,
когда мне шел десятый день от роду,
отчетливо по небу на заре
шли журавли... И славили свободу.

У телевизора

Смена событий, телес кутерьма,
плоские хохмочки комика!
Каждый по-своему сходит с ума,
Словно с горы или с холмика.

Гибкая ложь, поминальный елей,
рельсы из чистого золота...
Круглые сутки без «ешь» и «налей»
смотришь, не чувствуя голода.

«Что вы читаете?»
Ширма — ответ:
«Пушкина!» — выпалит весело.
Врет, прохиндей, а претензии нет.
(Если бы Пушкина, если бы...)

Вор за решеткой, а где словоблуд?
Демон с луженою глоткою?
Он — на экране, он все еще тут,
только теперь он — с бородкою.

...Все это было и все это есть.
Что ж тебе нужно, неистовый?
— Правды желаю! И нощно, и днесь.
Правды. Для выхода к Истине.

На Крюковом канале

Не в комнате-пенале,
не в доме-утюге,—
я вырос на канале,
на влажном ветерке,
где старец в пыльной кепке
слыл поваром царя,
где стрекоза на щепке
плыла в свои моря,
где забегал, крамольный,
точильщик во дворы,
где звоны с колокольни
срывались, как шары!
Где ночью люди в черном,
во взглядах со свинцом,
пока ты спал, проворно,
являлись за отцом;
где не было ни скуки,
ни мысли про... финал,
где мальчик о разлуке
знать ничего не знал.

Визит

(Из поэмы «37-й»)

Постучали люди в черном.
Их впустили. Как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих.
Мама ела торт «полено».
Я, дурак, жевал картон...
И вибрировал коленом
звездоглазый Пинкертон.
Он стоял в дверях,
                    чугунный,
неподкупный — враг врагов!
Торс гитары семиструнной
на стене — из двух подков.
И, вонзаясь в грудь комода,
пропотели вдруг в труде
представители народа —
два лица «энкаведе».
Разве можно книги мучить?
Зашатался книжный дом...
И упал из шкафа Тютчев
к сапогам двоих, ничком.
Нехорошие вы люди.
Что вы роетесь в посуде?
Что вы ищете, ребята?
Разве собственность —
                    не свята?

Мертвые слова

Мутна была погода,
мертва листва словес:
«лишенец», «враг народа»,
«в расход», «лагпункт»,
                    «обрез».

Что вынести Отчизне
пришлось и — для чего?
Лишенец... смысла жизни?
Враг... брата своего?

Слова, как брань,
                    как окрик,
как свист хлыста,
                    сквозь век:
«кулак», «рабсила»,
                    «контрик»,
«нацмен», «баланда», «зэк».

□

Я это чувствовал нутром,
умом — почти уже не верил,
что все окончится добром,
и мы начнем считать потери,
и нравственную ночь
                    в стране —
сопоставлять
                    с прошедшей тучей...
Но в глубине души,
                    на дне —
оставим страх...
                    На всякий случай.

□

А землю трогает снежок.
И он не тает...
                    А пора бы!
За щеки вставив пирожок,
идут смышленые прорабы.
Они задумали завод,
они поднять его решили
среди пружинистых болот,
где до того
                    лягушки жили.
Сейчас начнут повелевать,
сейчас закурят для начала...
И наш завод начнет вставать
и озираться
                    одичало!

□

Косынка меж стволов!
                    Твоих шагов шуршанье
в листве отжившей,
                    словно в старых снах...
Исчерпанные в нас,
                    смиренье с послушаньем
порой нужней, чем круг
                    спасительный
                    в волнах.

Магический кристалл —
                    судьбы всеобщей зданье.
И, преломленный в нем,
                    луч твоего огня...
Напрасно я любви
не крикнул — «до свиданья!»,
когда она, как жизнь,
                    покинула меня.

Чернобыльские старухи

Ночь. Душная. Контрольный пост.
На Припяти лежит понтонный мост.
Их задержали юные стрелки —
тех двух старух — на спинах узелки,
тех двух бабуль, подпертых батожком,
две сотни верст отмеривших пешком.
Они — туда, где мертвые сады,
они — домой: там отчие кресты.
Они сказали: там вот и умрут.
Они разулись: боты ноги трут.
Им лапоточки нынче в самый раз.
Их задержали. Им прочли приказ.
А ближе к у́тру — крадучись, ползком —
они исчезли... Благо путь знаком.

Семеновна

Семеновна, в глазах твоих тоска.
Нет, не тоска... Пожалуй, это — время.
Я и не знал, что жить на свете вредно:
линяет взор, как поздние луга.

Нет, не тоска... Живым — не до нее.
Вошла корова в узкую калитку,
сбежались кошки к дивному напитку
и теплое лакают бытие.

Огромная, аж наклонила тын,
на огороде вымахала тыква!
Семеновна, скажи, а как же ты-то?
Старик — в земле. Последний спился сын.

Отменные над речкой клевера,
их не берет коса, а... кто наточит?
Я не умею. Дед-сосед не хочет.
Прости, Семеновна, однако, мне пора.

Пора к себе. Я городом влеком.
Я вновь бегу, шепнув тебе «спасибо».
Ты остаешься сторожить Россию,
поить ее целебным молоком.

Семеновна, прощай. Живи всегда.
В глазах твоих любовь, в терпеньи — сила.
...Смотри-ка ты, как встарь — перекрестила!
Кого? Меня? Деревню? Города?

□

Лужайка. Трава на припеке нежна.
Прилягу. Потом загляну в небеса.
Спокоен. Поддержка ничья не нужна.
Один. Опустилась на грудь стрекоза.

Усталость. Как долго я шел в никуда.
Рокочет. Чья воля укажет мне путь?
Машина! Трава подо мною густа.
Минует? А может, запрыгнет на грудь?

Истома. Ревет выхлопная труба.
Кабина. Неужто уже сенокос?
Парнишка. Горячую прядку со лба.
Ромашка. Танцует у самых колес.

Мой Север

С. В.

Пречистый, нетронутый снежный покров,
порожний, насквозь продуваемый лес.
А жизнь состоит из одних вечеров,
из теплых бесед и холодных небес.

Как много на севере места, поверь,
для всех, кто задумчив и мышцей упруг.
А жизнь состоит из вчерашних потерь —
из мертвых друзей и уставших подруг.

Тоскует душа, чем ее ты ни тешь.
Настрою гитару, но... вряд ли спою.
А жизнь состоит из последних надежд
на твой голосок и улыбку твою.

□

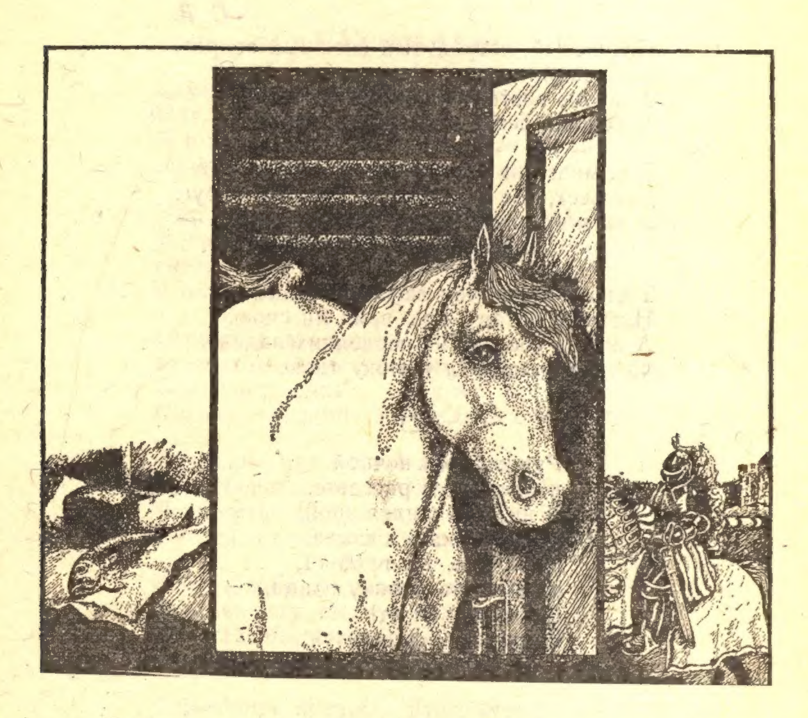
Руины тьмы ночной
на тлеющем рассвете.
В них притаился зной,
как музыка в кассете.
Назавтра, час пробьет,
нажмет на кнопку птица,
и солнце запоет!
И сущее — продлится.

Валентин ПИКУЛЬ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЮЖЕТЫ

Моей дорогой Тонечке — с любовью!

Наша милая, милая Уленька...



Выборгская сторона в Петербурге — не для богатых. Барон был еще молод и прозябал в бедности.

Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих: в туфельках, в лаптях, босые или в сапогах, громыхаю-

щих шпорами. Беспечально вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части: с головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин... Боже, до чего же прекрасна жизнь!

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе лошадки или встают на дыбы, мнимый ветер развевает у них хвосты из льняных оческов, а вместо глаз — бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовавшись, порою наклонялся пониже, заглядывая в глубину подвальных комнатенок, а там он видел молодого человека, который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из бумаги опять-таки лошадок.

Иные, недоумевая, спрашивали будочника:

— Что за мастеровой живет в угловом доме?

— А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером артиллерии. Тока не верится... Уж больно прост. Даже со мною здоровается. Чудит! А сам куску хлеба рад.

— На лошадях помешался, что ли?

— Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу и рисует всяко. Как это не боится? Ведь зашибут копытом. Никто и знать не будет...

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее — барон Клодт фон Юргенсбург, потомок древних рыцарей из Вестфалии, которые позже владели в Курляндии замком Юргенсбург, полученным ими в дар от герцога Готгарда Кетлера, предшественника известной всем нам династии герцогов Биронов.

. . . .

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, немало сражался, портрет его попал в Военную галерею Зимнего дворца, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул, как подкошенный, не вынеся оскорблений начальства...

Скульптор до старости поминал и чтил батюшку:

— Он, сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них и играли. Клодты с детства безделья и скуки не ведали. Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить...

Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который — не в пример кузену — умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого

было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чиновников.

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался не съеден, ибо в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клодта:

— Ну, каково живешь, Петруша?

— Хорошо... просто замечательно!

— Заплатки-то на локтях сам пришивал?

— Сам. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столько трудов и столько радостей...

Был 1830 год, когда Клодта приняли «вольнослушателем» при Академии художеств: по рисункам барона судили, что из него может со временем получиться недурной гравер. Клодт попал в среду художников, ему близкую, хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахт-параде, отводили барону место в последних шеренгах своего построения по чинам.

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия — кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым средь мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, убеленный благородною сединой, маститый ректор Императорской Академии художеств.

Иной час, заметив барона, Мартос этак небрежно спрашивал:

— Все лошадками балуетесь?

— Люблю лошадей, Иван Петрович... стараюсь.

— Пустое дело! С лошадей добра не наживете. Где бы вам путным чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь.

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживая на карманах нищенскую бахрому ветхой одежды, повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть здесь свое потаенное, но сердечное сокровище — Катеньку Мартос!

Что «вольнослушатель»? Так, пустое место. Ему стоять подальше, а впереди живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и сам Мартос, создатель величественных монументов, ярый ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпировал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружница Авдотья Афанасьевна, величавая владычица многочисленной, патриархальной семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка.

Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шептала дочери, краснеющей от стыда:

— Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кармане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом не шаромыжничать по чердакам да подвалам...

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, бывала и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей и разрешалось делать в церкви, что вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт, поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку.

А скоро случилось страшное — непоправимое!

Мария Каменская (дочь художника графа Ф. П. Толстого) в мемуарах писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа».

В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял пятидесятилетний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость.

— Моя дорогая телятинка! — так заявил Мартос. — Почтенный архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить твоей руки и сердца. Я согласен. Маменька тоже. Дело только за тобой — объявить прямо: согласна ли ты или нет?

«Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.

— Молчание — знак согласия! Человек, подать шампанского! — громко и радостно крикнул радостный отец...

Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинул его на свой парик и начал целовать дочь и будущего зятя... Одна только Катенька продолжала молчать. Таким образом, — писала М. Ф. Каменская, — она, не промолвив ни «да», ни «нет», едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидесятилетнего и мало привлекательного Василия Алексеевича Глинки». Цитата закончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег решила «счастье» девочки, покорно шагнувшей под венец.

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, если он никогда даже не мечтал иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу:

— Не имея за душой лишней копейки, я всегда считал себя богачом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд почитаю за величайшее счастье... Как тут быть?

— Ешь чеснок,— отвечал Греч,— мажься дегтем.

— Зачем? — удивился Клодт.

— Надвигается холера...

От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная вдова вернулась к родителям, выложив перед ними сто тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук.

— И то дело, красавушка ты моя, — сказала мать дочери,— с такими-то деньгами во вдовстве не засидишься... Гляди, и какой-нибудь генерал не откажется любить тебя да жаловать.

Но тут заявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помышляя о тысячах рублей, сгорал на костре пламенной любви и рухнул перед матерью на колени:

— Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уговорите и своего супруга, почтенного Ивана Петровича.

На это ему было четко сказано:

— В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да разве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в холе и неге, дочь академика, а вы... Много ли прибыли с лошадок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе ищете... Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь: он меня и вас турнет сразу!

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог, но я сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же монолога была такова:

— Вот, если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки да при этом еще нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите ее хоть сейчас в жены... два сапога пара!

Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских рыцарей, владевших когда-то замком Юргенсбург, и он поднялся с колен, отряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинке мигом, словно чулок с ноги, снялась».)

— Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна,— рассудил барон. — Совершенно согласен, что два сапога — хорошая пара! Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть Уленька.

— Никак изволите шутить со мною, барон?

Петр Карлович разложил все по полочкам:

— Уленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что

гораздо лучше, нежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора Академии. Пусть уж будет Уленька голодная и плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не боитесь этого...

Все решилось в два счета.

— Уля! — позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку. — Тут барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит.

Уленька Спиридонова зашлась от веселого хохота:

— Вот уж не думала, не гадала, что стану я баронессой...

Петр Карлович взял хохотушку за руку:

— Верю, что ты принесешь мне большое счастье...

Мартос отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения:

— Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться?

В дверях храма возникла суета, священник вопросил:

— Что там за шум? Уймитесь.

Церковный сторож отвечал во всеуслышание:

— Да тут какой-то оборванец в божий храм ломится. Сказывает, что его невеста заждалась. По шее давать али как еще?

— Пусти, — возвестил Мартос торжественно.

— Да он вить женихом себя прозывает.

— Это и есть жених, а вот и невеста его...

Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила:

— Чай будем пить или кофий со сладким сахаром?

— Я бы рад, да где взять? — отвечал барон.

Уленька, румяная после сна, не огорчилась:

— Нет, так нет. Водички из колодца попьем, можно и без кофию жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша...

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, а между простыней нашла серебряные рубли (таков был старый обычай: класть деньги в белье новобрачной).

— Со мною не пропадешь, — повеселела Уленька. — Не было ни гроша, так сразу рубли завелись...

Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что Петр Карлович даже испугался:

— Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно?

Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разнаряженный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных голов.

— Наверное, я не туды попал, — оторопел курьер.

— А кого ищете, сударь?

— Барона Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга... Сыскать его велел император, дабы срочно доставить в манеж Конной гвардии, где его императорское величество желает показать барону лошадей, что привезены в Петербург из Англии...

Николай I похвастал перед анималистом статью английских жеребцов, стоивших ему немалых денег, потом сказал:

— Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но теперь для колесницы Славы на аттике требуется изваять шестерку лошадей. Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считай этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хорошо — награжу по-царски...

Обратно домой Клодт вернулся, обвешанный с ног до головы кульками со сластями, расцеловал Уленьку:

— А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам.

— Зачем?

— Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета лучше всех женщин на свете, как сказочная принцесса...

...Госпожа Мартос готова была кусать себе локти:

— Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает... Промахнулась я, глупая! Не доглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на что ректор и академик, и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его лошадками да зверушками из глины?» А он-то теперь из глины золото месит... Ох промахнулась я, дура старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезами обливается...

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, что та дважды сделала ее несчастной:

— Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. А теперь все досталось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому — уже брюхатая! Боже, какая ж она счастливая... Люди сказывают, что теперь каждый день на себя новое платье примеривает!

. . . .

Шестерка вздыбленных лошадей, взносящих колесницу Славы над пропастью, стала для Клодта его первым и вдохновенным порывом к всемирной известности и широкой славе.

Квадриги черные вздымались на дыбы
На триумфальных поворотах...

Так знать лошадь, как Клодт, не знал никто, он был способен точно и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, самом неожиданном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта в момент кавалерийской атаки.

В 1835 году Уленька (Ульяна, или Иулиания) Ивановна Клодт принесла мужу первенца, Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный художник, он рассказывал молодым, что его мать была неунывающей оптимисткой, радостной в жизни, она любила всех, и все любили ее, веселую проказницу. «Она была не так красива, сколько миловидна и грациозна, а главное — в ней был неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья».

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисовал Уленьку карандашом — еще девочкой: широкоскулое и курносое личико, чуть подцвеченное сангиной, а сколько в нем прелести, сколько наивной и чистой простоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов Клодтов появился сам «великий Карл», волшебник русской кисти... Усталый, измученный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорблявший других, он бросил шляпу в угол, раздраженный:

— Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где я отдыхаю средь блаженства и мира, это ваш дом, где царит прекрасная Уленька..., ах, как я завидую тебе, Петруша!

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной женитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен, окружавших его. Ему не хотелось работать, но Уленьке он велел:

— Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать.

— Господи, да я совсем не готова...

— И не надо! Пусть другие дуры готовятся, а ты прекрасна всегда... Мне хорошо и тепло с тобой, среди твоих друзей, я люблю тебя, люблю твоего Петю, и не только ваших гостей, но даже зверей, что живут в вашем доме на правах лучших людей. Сиди. Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю...

Уже не девочка, а женщина и мать, Ульяна предстала на портрете Брюллова, заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но милым лицом. Кажется, вот-вот дрогнут ее губы, и мы снова услышим ее смех, отзвучавший в былом веке.

— Как я завидую твоему мужу, — говорил ей Брюллов...

А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как хороший шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наделял детвору игрушками собственной выделки. Великий мастер, уже сам заслуженный академик, барон умел делать все, и все в его руках ладилось.

— А как же иначе? На то и живем, — усмехался он...

Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую внешность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастерового. Друзья, ученики, звери — вот круг его друзей.

Брюллову он искренне признавался:

— Я терпеть не могу бывать в Париже.

— Да почему же так, Петя?

— Я могу быть спокоен только близ Уленьки, без нее я не могу быть счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя жизнь, когда Уленька рядом со мною...

Жизнь была прекрасной — в прекрасном труде!

Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека, прославила Аничков мост в Санкт-Петербурге, клодтовских коней пожелали иметь в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист Орас Верне навестил барона в его мастерской:

— Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, который бы осмелился заявить, что не знает образцов, достойных для подражания. Вы, барон, совершили невозможное...

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж признали Петра Карловича своим академиком. С утра уже на ногах, небрежно одетый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников в мастерской, где его по ошибке принимали за рабочего. Лучше всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и литейщики садились за стол барона, словно князья. Сла́ва никак не соблазняла мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просителям Клодт обычно говорил:

— Я занят. Покопайся в комоде. Возьми, сколько надо...

Все брали из комода, кто сколько хотел, и, конечно, долгов не возвращали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце:

— Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыдала. Басом взывала о пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо «в комод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны сапоги со шпорами». — «А я и сам заметил, что это гренадер, — отвечал папа. — Но если уж даже гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше дать... Бог с ним!»

Клодт не страшился никакого труда, а отдых видел лишь в перемене занятий. Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял место у плавильного гор-

на, освоил литейное дело, став заведующим литейной мастерской; он делал отливки столь добротно, что потом их даже не надобно было обрабатывать зубилами.

— Побольше бы нам таких баронов, — с уважением судачили рабочие, когда Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных брызг, хлебал квас, заедая его горбушкою хлеба...

На лето он вывозил семью в Павловск. Уленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, возвращалась она в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, и Клодт откровенно любовался ею. Гостей на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной жизни:

— Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшне. Никто не обижался. Отец был выдумщик. Изобретал всякие дома на колесах. Случалось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут за нами детишки: «Цыгане приехали, цыгане!»

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище волк и, хищно лязгая зубами, встречал гостей, вроде швейцара, — добрейший зверь, сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем детских игр, а семью Клодтов он считал своею родимой «стаей». По соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пленительной.

Бывал он и у Клодтов, однажды сказав Уленьке:

— Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка, присядь на минутку, да не вертись... хочу делать с тебя портрет.

Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая общее восхищение. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернувшись с прогулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, но поглощенная своим большим женским миром, в котором — семья, муж, работа и... счастье.

— Петр Федорович, скажи, я очень состарилась?

— Нет, — отвечал Соколов, — все такая же... резвушка.

— А еще кто я?

— Еще ты болтушка.

— А еще?

— Еще ты баронесса...

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена подписка на сооружение ему памятника (позже его поставили в Летнем саду, где Крылов любил бывать, при жизни гулять, а теперь гуляли дети, знавшие наизусть его басни). Клодт победил на конкурсе таких талантливых коллег, как Витали и Пименов. Клодтовский Крылов — это «ума палата», он воссел поверх пьедестала, как в кресле, а под ним мирно расположился целый мир его

героев: львы и слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, а ворона держала сыр в клюве. Этим памятником Крылову завершилось украшение Летнего сада!

— Ты устал? — спрашивала жена.

— Нет. Но, кажется, начала уставать ты.

— Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья...

Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как это ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое стойло — как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, Петр Карлович творчески переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего льва:

— Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его в парк ради прогулок за хвост выводили.

— И не проси! — отвечала Уленька. — Сегодня тебе льва для украшения генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай... Ты сам-то подумай, во что наш дом превратится, гостей к нам и калачом не заманишь!..

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался:

— Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась...

В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь.

— Как твои ноги? — беспокоилась за него Уленька.

— Болят, — пожаловался он жене, — ходить трудно, а сидя надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам...

Но милая, милая Уленька все-таки опередила его.

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище украсила лаконичная надпись: «Клодт-фон-Юргенсбург, баронесса Іулиания». Петр Карлович остался один.

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче, и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку.

Клодт взял игральную карту и ножницы.

— Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок...

Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала:

— Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами!

Клодт покачнулся и рухнул на пол.

Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли недошитые до конца детские башмачки.

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица.

— Тяжкая была работа, — говорил он в старости. — Знаете, отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комоде остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств.

. . . .

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники чужой славы, — и не это ли является наилучшей характеристикой для художника и семьянина?

Но, думая о мастерстве, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку.

В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и матерей, которые ничего героического не свершили, но своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умевшие хранить драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято любимые.

В моем представлении образ Уленьки, как и Светланы из баллады Жуковского, проплывает в истории — подобно легкому светлому облаку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас...

Вечная «карманная» слава

Мы хохочем над анекдотами, даже не спрашивая, кто их выдумал. Мы включаем магнитофоны, чтобы прослушать нового барда, но стихов его не видим в печати. Так бывало и в старину, когда поэты утешались подпольною славой, которую называли тогда «карманной». В подобных случаях тиражи зависели не от каприза издателей, а лишь от популярности в публике, не жалевшей чернил и бумаги ради поощрения анонимной музы. «Карманная слава, — писал Денис Давыдов, — как и карманные часы, может пу-

ститься в обращение, миновав строгости казенных досмотрщиков. Запрещенный товар подобен запрещенному плоду: цена его удваивается по мере строгости запрещения...»

А что тут удивляться? Мы ведь каждый день поедаем хлеб, но я ни разу не слышал, чтобы голодный сказал:

— Не стану есть, пока не узнаю, кто этот хлеб посеял?

Ты, милый мой, так и загнешься с голоду, никогда не узнав автора урожая. После такого вступления, весьма далекого от героики, лучше сразу отбить дату — 1790 год...

. . . .

— Охти мне, бедному! Даже поспать не дают человеку...

Да, тогда не ленились. Служить начинали в самую рань, да и пробуждались с первыми петухами. Нищие торопились к заутрене, чтобы занять место на паперти, взывая о милости, а государственные мужи облачались в мундиры, дабы не опоздать к исполнению служебного долга. В пять часов утра, когда Петербург досматривал последние сны, Екатерина II сама выводила на двор собачек, сама заваривала кофе покрепче, а в приемной ее царственных покоев уже позевывали невыспавшиеся сановники, готовые к докладам по делам государства. Но первым входил к императрице румяный с мороза мальчик в ладной форме преображенца и вручал коронованной женщине деловую «рапортичку» о состоянии в войсках гарнизона за минувшую ночь.

— Матушка, — говорил он, — драк и пожаров не было, а сугубого пьянства в казармах не примечено...

Сама несчастная в материнстве, чуждавшаяся своих детей, Екатерина была заботлива к чужим — особенно к сиротам.

— Замерз, Сережа? — говорила она. — Ну, садись к камину, погрейся. Только не мешай мне с людьми разговаривать.

Разморясь в тепле, под говор докладчиков, которых выслушивала Екатерина, мальчик иногда засыпал в ее креслах, дремотно познавая базарные цены на дрова, треску или сено, что замышляет Австрия или о чем думают в Англии. Если кто из сановников спрашивал о ребенке, императрица поясняла:

— Пусть спит. Будет офицером полка лейб-гвардии Преображенской... в полку-то ему лучше, нежели при мачехе. Он у меня в библиотеке Буало и Вольтера уже смакует.

— Сам-то из каких будет?

— Воронежский. Из дворян Мариных...

Марины завелись на Руси от итальянского архитектора Марини, приехавшего в Москву со знаменитым зодчим

Альберти Фиораванти, прозванного русскими «Аристотелем». В глубокой давности Марины служили России мечом, отливали колокола и пушки, при Иване Грозном были они «розмыслами» — инженерами. Сергей Никифорович Марин (наш герой), родился в Воронеже, где окончил народное училище. Отец, женившись вторично, сдал сына в военную службу, уповая на то, что под знаменами гвардии не пропадет. Это правда: отнеся «рапортичку» императрице, отрок весь день оставался свободен, отдаваясь любимой словесности и чтению французских классиков. Отправляя сына в столицу, отец дал ему крепостного парикмахера Игнашку, который не только завивал букли своему барчуку, но и почасту пропадал в трактирах столицы. Сережа Марин не раз вызволял своего холопа из трактиров, стыдил его:

— И не совестно тебе мои же деньги пропивать?

Игнашка плелся следом за ним, оправдываясь:

— А я, сударь, не все пропил! На самую остатнюю копейку пирожок купил твоей милости... Не побрезгай, иначе, гляди, я сам его съем за милую душу!

Но однажды из пирожка отрок зубами вытянул крысиный хвост и стал бранить Игнашку, на что тот резонно ответствовал:

— Эва, сердитый какой! Так за копейку не с брильянтами же пироги продают, а ты хвоста мышиного испугался... Ешь! Я для своего барина жизни не пожалею...

Марину исполнилось двадцать лет, когда на престол вступил Павел I, и гатчинские порядки, взлелеянные Аракчеевым, стали прививать к русской гвардии. Сергей Марин, сам гвардеец, живо отозвался на эти перемены колючими стихами:

Ахти-ахти-ахти — попался я впросак!
Из хвата-егеря я сделался пруссак.
И каску променяв на шляпу-треуголку,
Веду теперь я жизнь и скучну и невольну...

В конце 1797 года Марин стал портупей-прапорщиком, а сие значило, что он еще не офицер, хотя при оружии и носил темляк офицерский. К тому времени он уже обрел крамольную славу «карманного» стихотворца, никак не подвластного ни цензуре, ни даже критике.

— Мои стихи, слава богу, не станут пачкать типографскою краскою, — похвалялся он тем, что его не печатают. — Их купят в лавочке для разных там потреб, в них завернут селедку, сыр или хлеб... Опять же с пользою для читателей!

Не помышляя видеть свои стихи в журналах, Марин пользовался известностью в обществе. Всегда неунывающий, красивый, острослов, он был душою военного и светского Петербурга; молодежь ходила за ним по пятам, чтобы ус-

лышать едкое словцо, в салонах повторяли его каламбуры. Что с того, если человек еще жив? Марин слагал эпитафии и на живых:

Прохожий, не тужи, что Сукин наш скончался,
Не ядом опился — уставу зачитался.

. . . .

В сем месте положён наш бравый капитан.
Не мраморы над ним, а пуншевой стакан.

. . . .

Прохожий, воздохни: Евгенья тут зарыли.
Он умер оттого, что фрак не так скроили.

. . . .

Под камнем сим лежит известный скоморох:
Над ним висит пузырь, а в пузыре — горох.

. . . .

Прохожий, подивись, как все превратно в мире:
Рожденный во дворце, скончался он в трактире.

Последняя эпитафия — на принца Густава Бирона, который, потеряв надежды на престол в Курляндии, спился по кабакам. Не был забыт Мариным и его куафер Игнашка:

Игнашку, чтоб зарыть, немного хлопотали:
Накрыли фартуком да пудрой заметали.
А чтобы знали все, кого сразил здесь рок,
То в кучу пудрену воткнули гребешок...

Все было бы хорошо, но однажды, маршируя на вахтпараде со знаменем в руках, Марин нечаянно сбился с ноги, чем и вызвал бешеный гнев императора Павла I.

— Кто бы ни был — в рядовые его! — последовал приказ...

Марин стал солдатом, и жестокой сатирой досыта наиздевался над императором. Мало того, он сознательно будоражил недовольство в столице, высмеивая увлечение солдафонством, как бы предвосхищая грибоедовского Скалозуба, который даже Буало считал в чине майора и любил

На балах женщинам о службе говорить,
И чтоб понравиться им хваткою нахальной,
Читает наизусть им список формулярный.

Солдату же Марину послужной список уже испортили:

— Мой формуляр царь затянул в солдатские лямки...

Но однажды Марин нес караул в Зимнем дворце и столь лихо проделал ружьем артикул, что Павел I в восторге сказал своему сыну — наследнику Александру:

— Гляди, каков молодец! Кто таков?

— Разжалованный портупей-прапорщик.

— Так жалую его в прапорщики, — отвечал император...

А еще через год Марин стал подпоручиком. Тогда начиналась война с Францией, и поэту, как и всем молодым офицерам, хотелось состоять в армии Суворова, но приш-

лось остаться в столице, воспевая бранные подвиги полководца:

Искусства ратного Суворов госп — 1,
В Италию вступил ногою лишь е — 2,
Разбил французов вне и замешал вну — 3,
В Париже будем мы, как дважды два — 4...

В заговоре против Павла I немало помогли и «карманные» стихи Марина, ходившие по рукам как листовки, выражавшие гневный протест гатчинскому режиму. Павел I чувствовал, что ему готовят конец, в своем Михайловском замке он окружил себя верными гатчинцами, которым обещал:

— За охрану моей священной особы каждый из вас, голытьба несчастная, получит пятнадцать десятин земли в губернии Саратовской, дам вам душ — заживете барами!

Особым доверием Павла I пользовался и батальон преображенцев, которых он осыпал любезностями и наградами. В ночь с 11 на 12 апреля 1801 года Сергей Марин возглавил внутренний караул в Михайловском замке, составленный как раз из ветеранов этого батальона... Он честно предупредил солдат:

— Ребята! Если эта гатчинская сволочь решится супротив нас идти, берем их в штыки — и дело с концом...

Заговорщики уже проломились в спальню императора. Со второго этажа в караульную скатился раненый, взывая:

— Помогите! Там нашего государя кончают...

Только один из гвардейцев решил кинуться на выручку императора, но Марин удержал его острием шпаги:

— Не твое дело! Любого из вас, кто хоть рыпнется, сразу уложу на месте... Слушай меня: заряжай ружья...

Граф Николай Зубов (зять фельдмаршала Суворова) сразил императора ударом табакерки в висок, а душили его, согласно преданию, тем самым шарфом, который услужливо подал убийцам преображенский поэт Сергей Марин...

Открывалось новое царствование!

. . . .

Александр I, заняв престол, обрызганный отцовскою кровью, ради приличия удалил от себя главных убийц Павла I, но Марин не пострадал, даже был повышен в чин поручика гвардии. Впрочем, поэт оставался равнодушен к чинам, а своему близкому другу, графу Михаилу Воронцову, признавался:

— Вот и открылось новое столетие для Руси, а на душе всех россиян смутно. Зарю нового века встречаю в шеренге бойцов, держа эспантон наготове, готовый отразить нападение.

— Сережа, а в отставку тебе не хочется?

— С детства, почитай, кости мои службой изломаны. Почему бы и не отдохнуть на лежанке в объятиях милой и славной женушки? Эх, Мишель, влюбиться бы мне напропалую...

— Так влюбись, несчастный!

— В кого? — вопрошал Марин...

Каждое время имеет свои изъяны, умело утаивая свои пороки; эпоху же царствования Александра I умные люди почитали эпохой фальшивой: мужчины гордились тем, что обманывали женщин, а за игрою в карты обманывали друзей, женщины не стыдились изменять мужьям. Причин для горького смеха было предостаточно, и Сергей Марин не щадил пороков, в его «карманных» сатирах доставалось лицемерам столичного света:

«Служи отечеству!» — твердят мне с малых лет;
«Люби отечество!» — твердит весь белый свет.
Да только на словах те речи исполняют,
Но со вредом его счастливо проживают.

— Друзья похваливают мои стихи, — говорит Марин, — а Музу-то мою нещадно секут враги и завистники, яко девку зловредную. Расплачиваюсь за талант кучею неудовольствий...

«Всякие бранные стихи клали на мой счет,— писал он.— Добро бы умные, так куда бы ни шло, а стихи глупые, мерзкие, и все говорят: ну, это опять от Марина!» Зато друзья у него были хорошие. Алексей Оленин, сгорбленный умник, знаток искусств и археологии, свел его с баснописцем Крыловым и трагиком Озеровым; приятелем стал и Аркадий Суворов, сын фельдмаршала, утонувший в реке Рымнике; Марин крепко дружил с гвардейским поэтом Сашкой Аргамаковым, племянником знаменитого Дениса Фонвизина; молодой Денис Давыдов настраивал свою бивуачную лиру, откровенно подражая маринским стихотворениям. Зато вот пиита Гавриила Геракова, слагавшего скучные вирши, Марин сделал для себя «оселком», на котором, казалось, и оттачивал свое остроумие:

Будешь, будешь, сочинитель,
Век писать ты будешь вздор,
Будешь в Корпусе учитель,
А потом будешь майор...

Странно, что в грохоте Бородинской битвы стареющий Кутузов подозвал к себе адъютанта Кайсарова, говоря ему:

— Марина-то помнишь ли? Ах, как он высмеивал корпусного учителя Геракова... Ну-кась, подскажи его строчки. Потешь меня, дружочек. В громе пушек хочу смеяться...

Впрочем, до Бородина было еще далеко, когда Сергея Никифоровича настигла большая любовь — единственная,

которой он не изменил до конца своих дней. Тогда в столице большим барином доживал свой век престарелый фаворит Екатерины II — граф Петр Завадовский, погруженный в мрачную меланхолию и живущий лишь памятью о былом величии, когда он возлежал на ложе царицы. Этот угрюмый брюзга обладал женою-красавицей, которая была на тридцать лет моложе своего мужа. Звали ее Верой, она была из семьи Апраксиных, и вот однажды, расплакавшись, сама упала на грудь поэта — с признанием:

— Мне ведь не было и пятнадцати, когда родня силком выдала меня за старика. Теперь он даже в храме божьем до синяков щиплет меня, чтобы я глядела в пол, не смея глянуть на других мужчин. Но вот, наконец, пришел ты, и все воссияло особым блеском... ты — мое единое счастье! Любишь, да?

— Люблю, — отвечал поэт, вставая перед ней на колени...

Вера Завадовская стала его Музой, но, чтобы избежать сплетен недругов и не вызвать гнев ее мужа, Марин называл ее «Лилой», а иногда просто «верой» — верою в божество:

Увидев веры совершенство,
Я пре́зрел света суету.
Где веры нет, там нет блаженства.
Без ней смерть жизни предпочту...

Между тем, время для любви было тревожное, опасливое; военные люди жили в предчувствии близкой разлуки с избранницами своих сердец; русское воинство уже готовилось лечь костьми на поле брани. Наполеон и его маршалы, пресыщенные легкими триумфами, покоряли страну за страной, закабаляли один народ за другим, и этот победоносный вал медленно, но неотвратимо накатывался на восток... Правда, тогда никто из русских еще не думал, что маршалы Наполеона способны нарушить границы России, но всюду, куда ни придешь, люди говорили, что пришло время спасать Европу от «корсиканца»:

— Ежели не сейчас, так он совсем зарвется и, чего доброго, посмеет коснуться рубежей польских, земель славянских...

Марин отозвался на успехи французов с юмором:

Возьми большой котел с полудою без крана,
Брось Нея и Даву да храброго Бертрана,
Прибавь полиции министра Савари
И долго на огне состав ты сей вари.
Охолодя его, сим средством ты дойдешь,
Что «уксус четырех разбойников» найдешь...

Год 1805-й стал годом Аустерлица! Наполеон доказал совершенство своей армии, а русские доказали Наполеону, что они умеют стоять насмерть. Сергей Марин, командуя

батальоном, поплатился за свою отвагу при Аустерлице слишком жестоко. Первая пуля навылет прошла через его левую руку, вторая застряла в груди, а французская картечь разбила ему голову.

Падая, поэт успел крикнуть своим солдатам:

— Прощайте, братцы! Спасибо за службу...

А этот подлый пьяница Игнашка, сопровождавший Марина в походе, бросил его, трусливо бежав, да еще обворовал поэта. Марина вынесли из боя — замертво, но он выжил. Однако полевые хирурги напрасно ковырялись щипцами в его груди — пуля так и осталась возле самого сердца, как память о дне Аустерлица.

За мужество в этой битве поэт получил золотое оружие.

— Ну, попадись мне этот Игнашка! — говорит Марин. — Я ему отомщу самым жестоким образом... новою эпиграммой!

. . . .

Еще в канун Аустерлица он сочинил «Преображенский марш», и слова этого марша уже распевались в армии — вроде гимна. Поэт возвращался на родину через земли Венгрии и Галиции, а в Петербурге был встречен слезами Веры Завадовской.

— Не плачь, — сказал он женщине. — Я ведь жив...

Наконец, притащился Игнашка, вымаливая прощение.

— Драть бы тебя, как сидорову козу... наглец!

— Воля ваша. Виноват. Дерите.

— Я тебя так выдеру, что история тебя не забудет...

Человек добрый, всегда далекий от мести, Марин своего лакея, предавшего его на чужбине, отпустил на волю-вольную, раскрепостив его навсегда, но проводил Игнашку стихами:

Надгробную тебе я рано начертал.
В походе ты меня, как липку, ободрал.
Украл часы, червонцы, пистолеты...
И проживешь, к несчастью, многи лета!

Довольствуясь славою «карманного» стихотворца, Марин еще ни единой строчки не видел в печати. А вскоре Наполеон, ослепленный успехами, начал двигать свои полчища к рубежам России, его мародеры хозяйничали в Пруссии, русская армия снова готовилась в поход. В преддверии новых жестоких битв Марин, еще не залечив ран, обратил свои стихи «К русским»:

Уж *он* идет — летим сражаться,
Чтоб каждый, честию водим,
Готов был с жизнею расстаться...
Друзья, умрем иль победим!

Вера Завадовская, сияя лицом, раскрыла журнал «Лицей»:

— Стихи... к русским! Как они сюда попали? И под стихами писано: «Получено от неизвестного», но твоего имени нет.

— И не надо! — отвечал Марин. — Стезя у меня иная. Только не плачь, если меня не станет. Я был счастлив с тобою, и в последний миг жизни увижу твое лицо — самое прекрасное лицо самой прекрасной женщины на свете! Простимся...

Марин создавал отряды Олонецкого ополчения — из добровольцев; жители северных лесов, карелы, финны и поморы, все они были отличными охотниками и стрелками, поэт охотно стал командиром Олонецкого батальона. В сражении при Фридланде его батальон геройски бился с французами, а сам Марин вышел из боя, опять контуженный в голову шрапнелью. На жалких обозных дрогах, временами теряя сознание, через ухабы прусских дорог возвращался поэт на родину, чтобы снова увидеть лицо любимейшей женщины, и в горячечном бреду сами собой возникали и вновь меркли его же строки:

Пожалуйте, сударыня,
сядьте со мной рядом.
Пожалуйте, сударыня,
наградите взглядом...

За мужество в боях Марин получил аксельбант флигель-адъютанта, но уже подумывал об отставке с «лежанкою». Жизнь распорядилась иначе — мирно почивать не пришлось. Тильзитский мир стал лишь передышкой в кровопролитии. Осенью 1807 года царь послал Марина в Париж, чтобы он вручил императору французов его личное послание. Не знаю, какое впечатление произвел Париж на поэта, но во Франции он не задержался и, выполнив поручение, спешно вернулся в Петербург, уже засыпанный мягким снегом. Однако личная переписка монархов после их свидания в Тильзите никак не усмирила гордыни Наполеона, мечтавшего о свежих лаврах в венце победителя. Уже тогда Наполеон начал тайную войну с Россией, стараясь диверсиями и контрабандой подорвать ее экономическую мощь.

Еще усталый после скачки из Парижа до Петербурга, Марин был ознакомлен с секретным докладом: «Известно, что виленские и гродненские торговцы в большом количестве отправляют наши рублевики в Саксонию посредством корреспондента, живущего в Дрездене, еврея Каскеля; рублевики наши обращаются в тамошний монетный двор, где их еженедельно до 120 000 перечеканивается в талеры. Операция сия продолжается». Марину указали:

— Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних гарнизонов и стороною вызнавайте секреты сего

злодейства, главным в коем является банкир по фамилии Симсон...

Вскоре из Гродно, последовал рапорт Марина о том, что главный агент Симсона, «едущий с серебряными государственными рублями за границу, пойман мною и содержится под караулом...» Сам же банкир Симсон был арестован, но разведка Наполеона сработала столь хорошо, что этот Симсон, вовремя предупрежденный, успел уничтожить все документы о своих финансовых аферах с Дрезденом.

В 1809 году Марина произвели в чин полковника.

— Не знаю, как быть с вами, — сказал ему император. — Вы же больны, вам нужно место потише... Езжайте в Тверь, дабы состоять при тамошнем губернаторе принце Ольденбургском, женатом на моей любимой сестре. Заодно поправите и здоровье.

Марин не счел это назначение честью, друзьям говорил:

— Ох, тошен мне двор, а паче того не люблю принцев...

Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире:

Во брани поседев, воспитан под шатрами,
Попал я на паркет и шаркаю ногами.
Смотрю — и новых тьму встречаю я картин:
Тот ролю взял слуги, сам бывши господин,
Иной, слугою быв, играет роль вельможи...

Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым живописцем Орестом Кипренским, который создал романтический портрет Сергея Марина. Поэт говорил художнику:

— Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче стоять в шеренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков каламбурами... У меня все уже переболело внутри!

— А что болит-то? — спрашивал Кипренский.

— Аустерлиц и Фридлянд, — отвечал Марин. — Мечта о теплой лежанке отодвигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, выживу ли в будущей бойне? Но готовлю к смерти себя...

Поэт жил скромнейше, и только золотой жгут аксельбанта выделял его среди военного люда. В карты играл умеренно, шампанского не пил, но почему-то невзлюбил придворной музыки.

— Черт побери! Расцелую могильный прах того, кто первый в мире выдумал рифму, но кто догадался придумать ноты?..

Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить судьбу, — предрекал Марин в стихах, — вселенна с ужасом взирала на страшную сию борьбу». Боль была, а покоя не было.

— Да, не люблю нот, — говорил Марин, — но в пол-

ках уже играют мой «Преображенский марш», с которым следовать до Парижа. Сам его сочинил — под эту же музыку и погибну!

1812 год жестоко и безжалостно попрал все личные интересы людей, заставил позабыть прежние обиды, нападение Наполеона не оставило равнодушных: в этом году все стали патриотами, а великое единство народа помогло России выстоять перед натиском многочисленных орд зарвавшегося корсиканца.

Звук труб гласит врагов стремленье.
Спешу идти в кровавый бой.
Прости, о Лила! но в сраженье
Несу в душе я образ твой.
Когда же смерть там повстречаю,
Друг милый, не круши себя.
Шастлив мой жребий: жизнь скончаю
Я за отчизну — за тебя...

Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом:

— Прошу, как милости, состоять при вашей особе.

— Милости просишь, а чего морщишься?

— Болит... вот тут... под сердцем, — сознался Марин.

Он стал дежурным генералом армии. Состоять при Багратионе не всякий храбрец отваживался. Известно, что сам Багратион смерть презирал, а его адъютанты, подражая начальнику в храбрости, не заживались на этом свете, падая в боях один за другим, как подкошенные снопы. Багратион сам оберегал поэта.

— Ты в свалку не лезь, — говорил он Марину, — на это дело помоложе и здоровее тебя найдутся. Твое дело иное...

«Иное» дело было утомительным: Марин ведал снабжением армии, доставал для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал:

— Онучей и лаптей на сто тысяч персон! Срочно...

Война была общенародной, безжалостной, партизанской.

Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя — буйная голова! — достойны... на досуге напишу тебе оду. Я болен, как худая собака, никуда не выезжаю, лихорадка мучит меня...» Марин составил для истории отчет о том, как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его канцелярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил (при штабе. — *В. П.*) один пленный полковник из авангарда, так он уверял нас честью, что все сие время они (французы. — *В. П.*) не взяли в полон ни ста человек наших, а дезертиров русских даже не видывал...»

Вот так! От самых берегов литовского Немана отступали до Бородина, и никто не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай пардона...» Сами «пардона» не просили,

но и врагам «пардона» не обещали: в этом была суть жестокой народной войны!

. . . .

Дежурный генерал при штабе Багратиона, он, наверное, еще мог бы дожить до своей «лежанки» с милой женой, но поэта надломила гибель Багратиона в Бородинском сражении.

В неизвестной нищей деревушке, засыпанной снегами, Марин отогревался на печке, накрытый мужицким тулупом. Здоровье становилось все хуже, болела грудь. Слабеющей рукой, из которой вывертывался карандаш, Сергей Никифорович писал свои последние стихи — уже не сатирические, а героические.

— Наполеон — не Цезарь, — рассуждал Марин. — Наполеон пришел, увидел и... пропал! Так ему, ракалье, и надобно...

Багратион, еще до гибели своей, докладывал в Петербург о тяжкой болезни Марина; в конце октября Кутузов тоже сообщал императору, что присутствие Марина при армии необязательно.

— Не вижу иного выхода, — говорил Кутузов, — кроме единого: пусть Марин едет в столицу ради излечения...

В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 1813 года он скончался за Нарвской заставой — на даче своей верной «Лилы», и там, только там, нашлось место для его последней «лежанки». При вскрытии его тела врачи обнаружили французскую пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустерлица. Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Завадовская взяла на себя. Но — как замужняя дама — она делала это втайне, дабы не вызвать лишних кривотолков в обществе.

Скульптора она даже предупредила:

— Изобразите женщину, припавшую к праху усопшего, но только, ради бога, не обнажайте черт моего лица...

На постаменте надгробия были высечены слова:

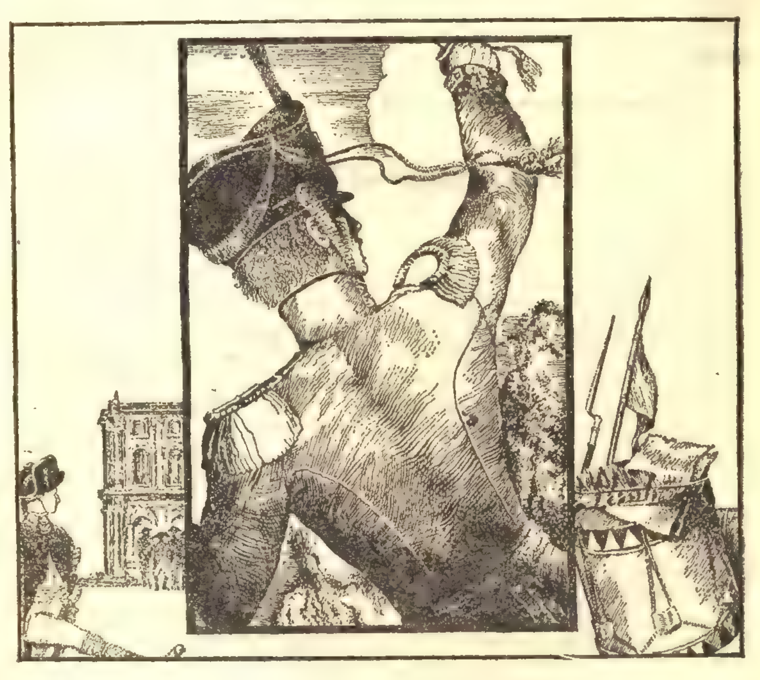
О, мой надежный друг! Расстались мы с тобой,
И скрылись от меня и счастье и покой...

Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не признавала их своими. Скульптор представил ее плакальщицей над могилой, а лицо Завадовской он деликатно упрятал драпировкой траурного крепа. Однако ваятель укрыл не все ее лицо, и потому современники отлично догадывались — кто застыл над могилой поэта в неутешной скорби.

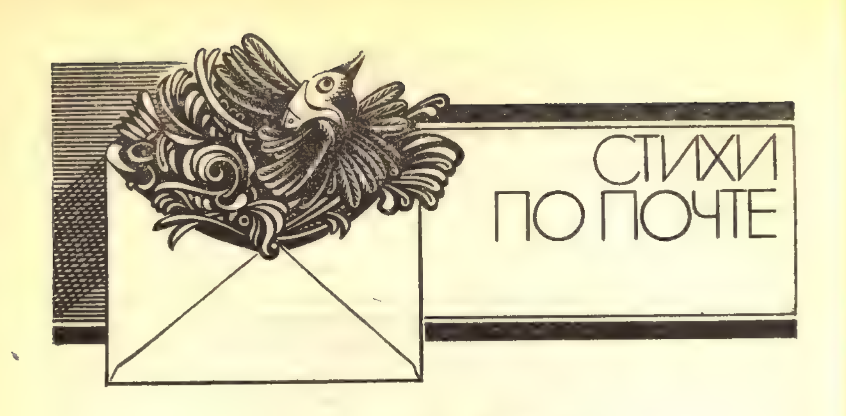
Марина не было в живых, когда под звуки «Преображенского марша» русская гвардия входила в Париж, громыхая боевыми литаврами. Вере Николаевне предстояло прожить еще очень долгую жизнь, но смерть не соединила влюбленных: много позже графиня Завадовская нашла

вечное успокоение в безвестной глуши Порховского уезда Псковской губернии.

В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс, ставшая женою Льва Толстого, и писатель в своем романе «Война и мир» не забыл помянуть, что даже в гуле Бородинского сражения Кутузов просил читать ему стихи Сергея Марина...



Рисунки Валерия Трилесского



Владимир БОЛОХОВ

Искра

Какая синь! Чего же проще:
рвануть обшарпанную дверь
и в зачарованную рощу,
в закуролесивший апрель
ворваться мальчиком —
не мужем,
забыв ответственную речь,
и над живым шедевром
лужи —
восторга искру подстеречь.

□

Какая веселая мудрость
и нежная зоркость в груди.
Какое счастливое утро:
как будто вся жизнь —
впереди...

Закономерно ль,
случайно ль,—
да стоит ли думать, когда
житейско-великая тайна
по жилам,
как ток — в провода,
когда:
в глубине всеобъемной
души растворяется мысль,
и сердце - легко и огромно —
объемлет малейшую жизнь...
Наисладчайшая тайна
добра — просто ради добра...
Почаще бы и не случайно —
она... И не только с утра.

г. Новомосковск,
Тульская обл.

Станислав ПОДОЛЬСКИЙ

Дерево

Вот дерево стоит — метеорит,
ушедший в землю и родивший чудо!
Взрыв зелени над автострадным гудом!
Над чадом шинным — шелестящий скит.
Лесным виденьем дерево стоит!
С окошками кукушек и зари,
с вороньими избушками внутри.

От корешков до привершинных веток —
дрожащая зеленая планета
живет и посылает вести ввысь.
И небо натекает в каждый лист.
И листья — как прищуры рысьи — вниз,
туда, где над землей асфальт навис,
автобусы проносятся как свист...

О, мир летящий, тормознись, вглядись!
В свеченье лета, с ветром вперелист,
все в воробьиных петельках орбит —
вот дерево, вот дерево стоит!

г. Кисловодск

Тамилла НЕДОШИВИНА

□

Сойду на станции
заснеженной,
Затерянной в глухом лесу,
На станции
с названьем нежным:
«Я на руках вас донесу».
— Таких названий
не бывает,—
так скажет тот,
кто вас не знает...

□

Окно — кино. За годом год,
апрель, капель и ледоход.
Обрывки снега, клок травы
серо-зеленой рыжины
в пересечении дорожек —
двор в клеточку,
газон в горошек.
Высотный дом, как теплоход,
плывущий пятнами окошек
в чернильно-синий небосвод.

□

Если лед вдруг обломится, разольется вода,
не успеешь опомниться — пропаду без следа.
Скорбно месяц наклонится и сорвется звезда,
тишиною наполнятся и замрут провода.
Затонувшая звонница замолчит навсегда,
если лед вдруг обломится и случится беда.
Телефон твой обмолвится, позвонит не туда,
метрономная ровница, и не стоит труда.
...Сказкой конница вспомнится и живая вода,
Затонувшая звонница и слепая звезда.

□

Ах, кабы белой ночью, прозрачной и молочной,
миражной и витражной, пьянящей, не нарочной,
ах, кабы белой ночью, столь призрачно-непрочной,
уехали бы за город без проволочек, срочно.

Уехали бы за город, куда — никто б не знал,
какой-то электричкою, покинувшей вокзал.
Уехали бы к морю, где длинный пляж у скал,
без масок и одежды в прибое карнавал.
Ах, кабы костерочек в погожий майский день
во вторник или в среду, когда цветет сирень,
у речки, где песочек, сосны кривая тень.
Ах, кабы не ухабы, не годы, не мигрень,
уехали бы за город, когда цветет сирень...

г. Ленинград

Изяслав КОТЛЯРОВ

□

...И распугав тишину,
выбегу снова из школы.
Рыжую Лильку толкну,
громко спрягая глаголы.
Следом гремит коридор!
Чью-то поймаю ушанку,
брошу подальше во двор,
стукну в консервную банку.
И налетят пацаны,
и побежим, громыхая,—
дети последней войны,
послевоенного рая...

□

Метель вечерняя мела
и нам опутывала ноги.
А ты все шла, а ты все шла
лицом ко мне,
спиной к дороге.
И отступая, и маня,
ты просветленно улыбалась.
И так смотрела на меня,
как будто мною любовалась.
Забор.
Калитка.
Дом.
Крыльцо.
А ты все шла во тьму спиною,
чтоб видел я твое лицо —
счастливое передо мною.
«Ну, ладно, хватит,
упадешь!
Ну, сумасшедшая, не надо!»
А ты идешь, идешь, идешь —
Уже всему на свете рада.

□

Пока я думал о себе,
на небе тучи потемнели,
по ветру ветви полетели
и ливень хлынул по трубе,
по жестяной,
по водосточной,
по громыхающей трубе,—
пока я думал о непрочной
и о неласковой судьбе.
Пока обиды вспоминал,
пока прислушивался
к боли,—
за городом,
в пшеничном поле,
комбайну ливень помешал.
И кто-то думал в поле том,
просвет высматривая в небе,
о нашем, о насущном
хлебе,—
пока я думал о своем...

г. Светлогорск, Гомельская обл.

Владимир СЕМЕНОВ

На трассе

В кабине нас двое.
На трассе нас двое.
Мотор не поет,
а с надрывом воет.
Буксуем, толкаем,
грозимся, смеемся,—
мы в снежной осаде,
но мы — не сдаемся.
На миг посветлело
и снова темнеет,
тайга подступает смелее,
смелее...
Прямыми и жесткими
копьями света
вонзаемся в темень
на несколько метров.
Мы чувствуем мышцы
и мысли друг друга,
нам жарко на кромке
Полярного круга.
Бывалый водитель
мне дорог, как брат,—
а мы познакомились
сутки назад.

Сквозь лобовое стекло

Страницы городов листаю
и в дождь осенний,
и в мороз,
проспекты, улицы мотаю,
как нитки на клубки колес.

Мой дед на Ладоге когда-то
ушел с полуторкой
под лед...
И эта траурная дата
мне жить спокойно не дает.

Задачу жизни понимаю
по-пролетарски я, всерьез.
Судьбу дорожную мотаю,
как нитки на клубки колес.

с. Портовое, Приозерский р-н,
Ленинградская обл.

Николай ЕРЕМИН

□

Не хочу, в весеннем беспорядке
Омрачив заботами чело,
Взять и умереть от лихорадки
Или неизвестно от чего...
А хочу — сам-друг, ни в чем не промах —
В солнце городов и деревень
От души вдыхать пыльцу черемух
И сиреней — каждый божий день...
И хочу осеннею порою,
Сенокосу и покою рад,
Ночью, у костра, по-над рекою
Искры наблюдать и звездопад...
И хочу — до самой тонкой жилки,
Как любой нормальный человек,
Трепетать, когда летят снежинки —
Плавно, день за днем, за веком век...

г. Красноярск

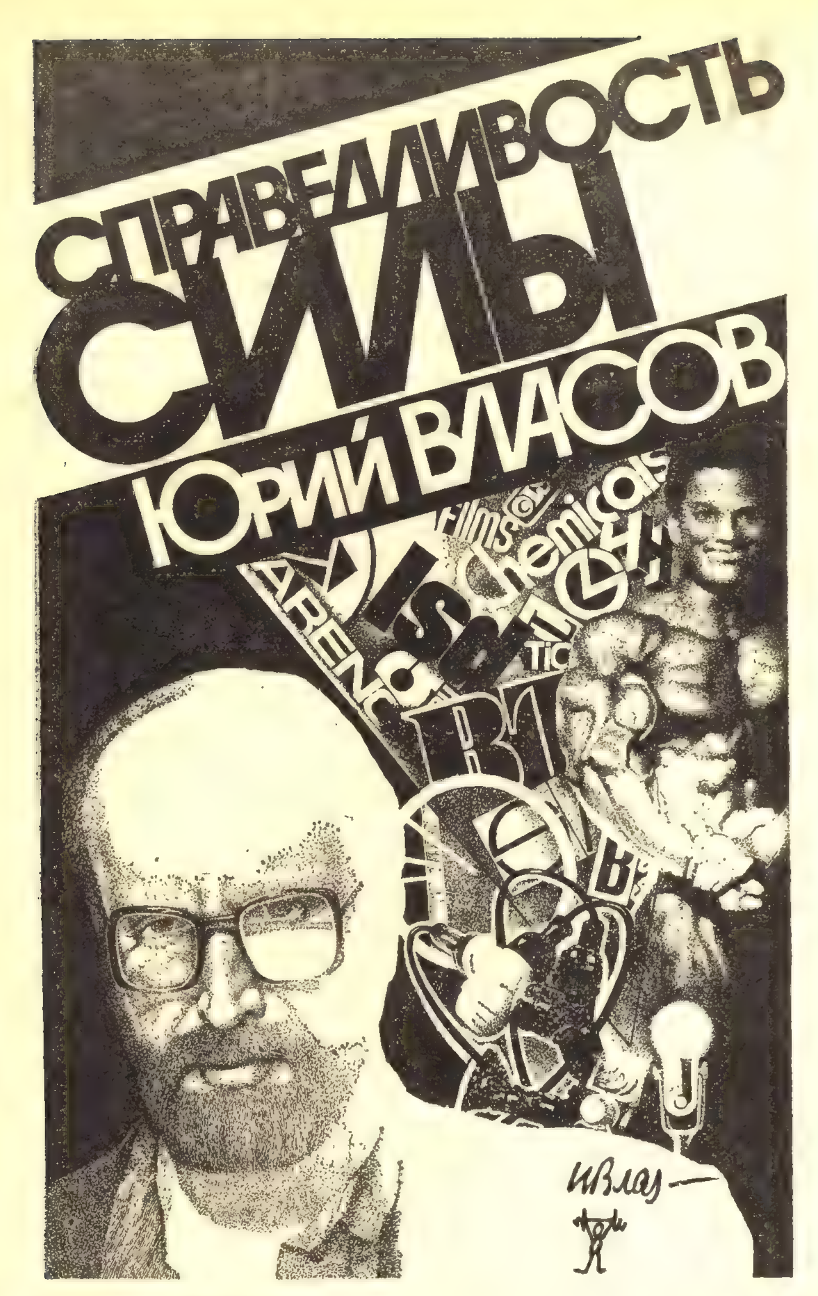


Рисунок Валерия Трилесского

Когда шел на завтрак, меня подозвала доктор Миронова: «Хочу вас предупредить: Жаботинский ведет себя не спортивно. Я ему ввожу гидрокортизон в плечевой сустав. Так вот... С полчаса назад он мне нагрубил и кричит: «Рукой не пошевелю!» Стонет, охает. Я велела раздеться. Осмотрела — рука в порядке, подвижность стопроцентная и безболезненная. Он, как забудется, так отлично работает рукой».

Я подумал: «Ищет оправдания на случай поражения. Учтем».

...Очень интересная литературная находка. Мысль пришла неожиданно. Если у какого-то важного героя мало действия при развитии сюжета, то насели его дом, службу, дело множеством любопытных типов. Они будут, таким образом, характеризовать этого важного героя и принимать его действие на себя...

Ким по поводу преждевременной радости Каплунова после рывка (Володя разбежался и прыгнул ребятам на руки) сказал: «Бога нет, но судьба есть. Зачем радоваться, если борьба не окончена?..»

Если ты есть, судьба, укрепи мою волю!..

Эх, все дождит и дождит. Многовато воды.

Нет Саши Курынова. Без него одиноко. Из тех, кто выступал в Риме, я один. Плюкфельдер был в Риме, но не работал.

Странный мир: все заняты только собой, почти никто не слышит другого, едва ли не глухи. И эти глухие непрерывно говорят в надежде быть услышанными, понятыми...

В эти дни с каким-то холодным равнодушием думаю о своем выступлении. Равнодушие — это не усталость, это владение собой. И чем ближе к поединку, тем больше это спокойствие. Научился все же владеть собой.

Утром, измеряя давление, доктор говорит: «Бросишь спорт — и ладно. Это иллюзия жизни, а в самом деле — пустота. А вот вложишь опыт жизни в работу... Давление отличное — 115 мм! Молодец, владеешь собой! Ни у кого такого давления нет, ты просто гигант...»

Я вспомнил, как доктор проводил измерения в Тбилиси на чемпионате страны 1962 года. За пять минут до вызова на помост у меня было 165 мм, Жаботинского — 195 мм. Достается сосудам... А разве можно сравнить ожесточенность столкновений на чемпионате страны с олимпийскими...

Дождь без продыха, дождь и дождь...

Пусто. Богдасаров с Головановым уехали в город. Остальные расползлись неизвестно куда. Под ветром над окном раскачивается витой шнур. Белый шнур.

Раздумывал о Мияке. Несколько отталкивает механическая бесчувственность — этакая настроенная машина. Все человеческое заморожено. Очевидно, когда человеческое заморожено, лучше работать. Кирпич вообще ничего не чувствует, для любой кладки годится... Я вспомнил: после больших удач Мияке щерил крупные белые зубы... Откуда я знаю? Может быть, это большой и интересный человек. Нельзя внешне брать человека... Но все-таки кирпичом быть проще и уважают больше...

Выписываю из Тарле: «...Царь (Николай Первый, — *Ю. В.*) знал, что его предают и покупают именно те, кто ближе всего к нему стоит...»

Окончание. Начало см. «Аврору» №№ 9—11 — 1988

Так и нет времени посмотреть Токио. А когда?..

Уверенность — это мышцы без страха, мощные и, самое главное, точные движения!

...Куренцов проиграл, растерянный, жмется. Сел и смотрит на меня. Глаза виноватые.

Вошел Воробьев, заговорил резко: «Смалодушничал! Тебе бы туристом в Токио, а не атлетом! Тьфу, противно!» И с треском лег на свою кровать.

— Я не трус, — попробовал защищаться Куренцов.

Кровь прихлынула к голове, я не выдержал: «Вы же столько раз были вторым, Аркадий Никитович! При мне уступили чемпионат мира в Варшаве! При мне в Вене оказались третьим на чемпионате мира! Куренцов ведь новичок! Вы так сломаете парня, а ему еще выступать!»

В углу, сгорбясь, никак не реагируя на слова, писал что-то Медведев.

В свое время я был встревожен, когда узнал о том, что тренером Жаботинского стал Медведев.

Этот человек знает обо мне все. Он был атлетом, которого я лишил побед в самый расцвет его силы. А каким долгим был его путь к этим победам!..

Потом Медведев готовил диссертацию. Он уже не выступал. Тренировку за тренировкой высиживал в зале ЦСКА. Он изучал мои тренировки, мой характер, мои слабости. Я был открыт для него. Я не скрывал ничего. Он может знать, какие тренировки мне по плечу, и, стало быть, чего я могу добыть спортивным трудом.

Теперь он тренер Жаботинского. Правда, Медведев держится джентльменски, но мне от этого не легче. Я как бы высвечен перед своим соперником...

Нынче никто не выступает. День солнечный.

Пошел к Жаботинскому. С ним были Плюкфельдер и Каплунов. Я сказал:

— Леня, давай забудем, кто что говорил. А кто пристанет и зашепчет гадости обо мне — гони в шею. Я не говорил ничего и не буду говорить — обещаю!

— Хорошо, — кивнул Жаботинский. — Пусть так.

Почти весь день просидели с Богдасаровым в парке. Людно в Олимпийской деревне, а хочется уединения. Целые дни долбят люди: вопросы, автографы, фотографирование, порой и ощупывание мышц... Заглянул перед ужином Вахонин.

— А, соизволили навестить бедных родственников, — сказал я.

— Плечо болит! — пожаловался Вахонин.

— У тебя золотая медаль, а ты — плечо!

— Да пусть руки хоть отсохнут после соревнований, — мрачно сказал Богдасаров.

— Куришь теперь в открытую? — спросил я.

— Нет, прячусь от Воробьева, — заулыбался Вахонин. — Вчерась пачку выкурил — ходил за Куренцовым. Так переживал — ночь не спал! Лучше самому работать.

Каждый раз, когда бросаю в урну бумагу или яблочный огрызок, загадываю: попаду — выиграю олимпийские. Счет 21 : 9. Девять — это попадания.

Я зашел побриться в душевую. Там уже брился смуглый армянин. Его я не знаю.

Чтобы как-то смягчить молчание, я сказал:

— Ждешь, ждешь, кажется, все жилы выкрутило ожидание.

— А у меня финал еще позже твоего выступления. Семь килограммов согнал — и работаю. Девять дней надо держать вес — и бороться. Почти не ем. Вот, — он оттянул курчавую прядь, — сколько седины, а мне двадцать семь! Почти полгода не был дома. Последние четыре месяца — только на ковре, в схватках... А что взамен?.

Уже третий вечер снова с пяти вечера поднимается температура. Лихорадка рвется по проторенному пути. История знакомая. О ней я молчу. Здесь это примут за малодушие, за желание спрятаться. Никто ничего не должен знать. Я крепок и благополучен.

Эх, заглянуть бы в завтра...

Да, но я, по-моему, слишком серьезно начинаю принимать эту игру. Так и сорваться можно...

Сидел с борцами. Один из них удивлялся японскому борцу — олимпийскому чемпиону: «Сгонщик, одна кожа и кости! Ну, дезертир с кладбища, а скорость невероятная! Откуда это?!»

Голованов и Богдасаров поменялись местами. Теперь Сурен Петрович неотлучно со мной. Это важно перед соревнованиями. Настолько надоело ждать, что порой безразлично, как выступлю. Хочется побыстрее расквитаться со спортом. Чего уж, эта жизнь исчерпана.

Стараюсь прятать, не проявлять чувства. Нельзя давать повода никому для обвинения меня в капризности и прочих эгоизмах.

Самое высокое мужество — прожить жизнь честно. Многие ставят на первое место доброту, но можно быть добрым... и соглашателем. Даже храбрый, смелый человек производит неприятное впечатление, если он способен поступиться честностью. Долг, преданность, чистота, идейность — все это замешивается на цементе честности. Для меня это качество — каркас человеческой личности. Недаром слова «честность» и «честь» — одного корня...

Ким неудачно выступил. Неразговорчив, угрюм. На ночь попросил снотворное.

На тренировке снова встретился с Сельветти. Поразил физической дряблостью. А какой же был атлет!

Перед тренировкой вдруг как бред: ничего не сумею сделать, разрушается координация!.. Нагрубил Богдасарову. Без радости в мышцах прошел чепуховые веса. И лишь когда стал вырывать раз за разом 160 кг, успокоился. Через силу обрел себя. Проверенный ход.

«Железо» съело кожу на ладонях. Не ладони, а подошвы. На шее и груди, около яремной ямки, один багровый синяк...

После ужина сидели с Кимом, Богдасаровым и Литуевым. Ким день провел на стадионе: «Не женщины — богини! На 6 метров 70 сантиметров прыгают и при том женственны, не огрубели. Кэтберт 400 метров бежала, как у нас мужчины-десятиборцы не бегают».

Потом рассказывал Литуев: «Меня Филиппов * остановил и спрашивает, почему Дутов ** сошел с десятикилометровой дистанции?. Я вот солдатом был и на марше у меня печень

---

* Один из армейских физкультурных работников.

** Николай Дутов — чемпион СССР 1964 года в беге на 5000 м.

схватило, а на плече пулемет. Я несколько раз выдохнул: „Хы, хы!“ — и как рукой сняло! Печень!..»

Мы не смеемся, а гогочем.

Сколько же здесь дармоедов...

Мимо идет доктор. Возле нас задержал шаг: «Проигрываем „золото“. Все американцы берут и немцы. Ничего, по общему числу медалей отыграемся».

Говорю ребятам, как доктор сказал: «Четвертое поколение штангистов переживаю...»

Ким зло бормочет:

— Испил бы полбадейки от нашего пота и тревог — и на одно поколение бы не хватило.

Литуев:

— А сколько здесь таких! И держатся высокомерно, будто мы при них!

— Что тут толковать: масть к масти подбирается, — отзываюсь я. — Ничего, нас дерут, а мы крепчаем.

— Емельянов * нокаутировал поляка, — говорит Ким. — Правда, поляк слабенький.

Богдасаров усмехается:

— А, может, Емельянов сильный?

Мы смеемся.

Емельянов выступает в тяжелом весе. Тоже из бывших суворовцев. Совсем молод, ему только выступать. Боксеры — удивительно дружная команда...

Сидели долго. Вечер был прохладный. Вышел, украдкой покурил Голованов. Ему работать завтра. Он уже горит: порывист, говорит громко, пятнами румянец по лицу.

Потом пришел Плюкфельдер. Он выиграл золотую медаль. Начали поздравлять. Я обнял его. Он крепко прижался. Как никто он заслужил победу!..

Теперь мне надо попридержать в весе килограммчика три, проворней буду на помосте, свежей...

Пасмурное, прохладное утро. Завтра выступать мне. Утром, умываясь, я сказал Сенаторову **: «Скорей бы время! Ну всю душу выело!»

Ласковые руки сильного человека сжали мне плечи: «Время нельзя торопить, Юра! Его никогда не повернешь! Умей принимать время...»

«Положение локтей — основа правильного жима», — сказал Богдасаров, одеваясь утром. Он даже одеваться пришел ко мне. Спозаранку начинает настраивать меня, в упряжь ставит мои чувства. Пусть, мне легче. Есть на кого опереться. Пусть говорит...

Потом мы сидели с Кимом в парке и перебирали японские газеты.

Нас прогнал ветер. И вот, нарастая, уже дует несколько часов... Слежу за собой. Вроде ровен, спокоен. Постылая игра в браваду...

Рама колотилась, дребезжала. Богдасаров прижал ее картоном и ехидно спросил: «Что не стучишь? Давай, милая!»

---

* Вадим Емельянов в Токио получил бронзовую медаль.

** Александр Сенаторов — чемпион СССР по классической борьбе 1939 года. В 1964 году — государственный тренер по борьбе.

Получил из Москвы от Аптекаря * фотографию. Мое подольское выступление. Поставил фотографию сбоку на ночной столик. На фотографии — победа!..

Побеждать, победить — значит, прожить жизнь в соответствии со своими убеждениями.

Подлинная победа — незамутненная жизнь в любимом деле, независимость твоего дыхания и твоего дела, уверенность в себе и сохранение искренности. Человек без искренности, что солнце за дымкой...

Голованов выиграл! Вот и разгадка прикидкам Мартина: опытный атлет, трехкратный чемпион мира упустил победу, заездил себя прикидками. Сомневался, как новичок, — и прикидывался, загонял себя на большие веса, не верил в себя, горел. А много ли людей умеет верить в себя?..

Пришел Вахонин. Откинулся на кровати:

— Опустошен до предела!

— Ну и здорово! — сказал я. — Мне бы так опустошиться!

Вахонин покрутил транзистор, он висел у него на плече, сказал:

— За хорошими людьми и мы хорошие.

Оживи «железо»!..

Весной 1962 года в Леселидзе, как раз накануне нервного срыва, я познакомился с Дмитрием Дмитриевичем Жилкиным — тренером метателей: с нами на сборах были легкоатлеты и боксеры. Мы звали Жилкина Димычем. Мы — это я, Ким Буханцев и еще несколько парней из сборной по боксу. Впрочем, его, наверное, так звали многие.

Димыч — своеобразная личность, очень гордый, во всем самостоятельный, войной битый-перебитый, травленый-перетравленный. Он служил в диверсионно-десантных отрядах. О войне рассказывает скупо, но очень образно. Кроме всего прочего, талантливый самоучка-конструктор. Многие его радиоприборы были отмечены дипломами на всесоюзных выставках.

Было бы несправедливо сказать, что он любит спорт — он его не любит, он его обожает. От спорта ему не надо благ — лишь бы существовала возможность тренировать ребят и самому тренироваться. Его ученики становились чемпионами страны.

В общем, он производит сильное впечатление.

О чем мы только не толковали в долгие ночные сидения до рассвета... В такие сидения Димыч заговорит о чем-нибудь, а потом вдруг без всякой связи спросит: «Скажи, Юра, как ты его поднимаешь? Как ты умеешь делать «железо» живым? Скажи, открой секрет?..»

От неожиданности не сразу соберешься с мыслями, да и как ответить на такой вопрос. Начну что-то объяснять. Он только мотнет головой: «Нет, не то, не то!..» И опять за свое: «Отчего у тебя „железо“ живое?» И уставится: глаза крупные, серые, немигающие...

Оживи «железо»!.. Завтра мне это нужно обязательно.

Даже вот эти записи вести сложно. Подглядывай за собой, а это взводит. Дремать — самое лучшее состояние.

Вот и все. Завтра мой черед.

Все было ради этого дня — все-все!

* Михаил Аптекарь — историк тяжелой атлетики, судья и тренер.

В пять утра проснулся и лежал с полчаса. Между домами с карканьем носились черные вороны. Потом задремал.

Утро непогожее — это я уловил, встав уже довольно поздно. Ровно шумел дождь. Что ж, дождался, выворачивайся силой — из твоих удовольствий...

Верю в победу. Подвел себя неплохо, по законам высшей опытности: не болен, не потерял вес, кроме тех трех килограммов, что придержаны умышленно, отдохнул, не горел, все связки и мышцы здоровы. И еще до сих пор никому не проигрывал! Значит, не научен проигрывать.

«Дождь льет, — сказал Голованов, — к счастью».

Пришел доктор: «Жаботинский жалуется на руку. Я сделал все необходимое. Я думаю, что это такая травма, которая не должна мешать выступлению. Рука в порядке». А я вспомнил Миронову: конечно, перестраховывается, а вдруг сыпанется, тогда на руку можно будет все и свалить...

Говорю доктору: «Я совершенно здоров».

Пришел корреспондент «Комсомольской правды» Базунов, полистал пачку телеграмм на моем столе, рассказал анекдот.

По дороге на завтрак слышал со всех сторон: «Ты будешь первый!» Я отмахивался и говорил: «Дождь льет на счастье не одному мне».

И потом я писал уже на программе соревнований: «Перед отъездом посидели молча. У машины стоял Михаил Степанович *: «Я тебя, дорогой, жду уже тридцать минут. Фронтовики суеверны... Вахонина и Голованова провожал — выиграли. Теперь тебя жду. Ты не улыбайся, это не психотерапия. Первый! Только первый!» Он обнял меня.

Дождь поливал нас.

В машине Воробьев сказал: «Люблю дождь».

...Только что вернулся со взвешивания Мой вес — 136,4 кг. Отличный вес! Значит, не горел!.. Я копался в сумке, отбирая вещи, бинты. Сбоку говорил Воробьев: «Не буду ждать окончания Игр — улечу послезавтра. Самому выступать легче. Из сил выбился за всех болеть. Столько волнений!..»

«Оживи «железо»! Слышишь, оживи!..»

Итак, победа за мной. Этот подход может мне дать еще один рекорд — третий мировой рекорд в этих соревнованиях. Что может быть почетней такой победы!.. Еще подход — и всему конец, вообще всему!!

Я натер подошвы ботинок канифолью, чтобы ноги стопорились в посыле. На ботинках красной краской выведены имена побежденных соперников: Эндерсон, Брэдфорд, Шемански, Эшмэн, Сид, Зирк, Губнер...

Штанга закручена замками. Не прикасаясь к грифу, я ощутил эту тяжесть, бесшумную в замках, отзывчивую на любое движение. Гриф упругий и на хороших подшипниках: удобно цеплять на грудь. «Элейко» — высшего класса гриф.

Я примеривался к грифу и воспроизводил в памяти движение. Проверял готовность мышц, взводил их командами, отрешался от всего, кроме надвигающегося усилия. Жар опалял, сушил. Не зал, а топка...

---

* Михаил Степанович — работник Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту.

Я не выпускал из сознания самые важные стартовые правила: не согнуть руки в тяге, особенно при отрыве веса, а в посыле не клюнуть и подсед сделать короткий... Можно гордиться: выдрессировал себя.

Я еще не брал гриф. Я выцеливал хват, ширину стартового положения ног, прикидывая положение плечей.

Нет, я не пускал в сознание мысль о том, какой будет тяжесть! Пусть это самый большой вес. Пусть его никто не брал. Пусть я тут первый...

Я отучил себя воспринимать все иные чувства, кроме рабочих. Пора...

Мышцы подключались уверенно, без сбоев, и вес набирал скорость. Я стал необыкновенно твердым, когда вытянул его в точку подрыва, — в этот момент штанга весит намного больше, чем в покое. Все внутри сжалось в ком. И все напряжения были жгуче горячими и каменно твердыми.

Я сделал главное, зацепил вес на нужную высоту. Уход уже не представлял сложностей. Самое главное — не смалодушничать, подставить себя под вес, войти под него.

И я вошел! Я принял его на грудь мягко и точно. И встал я очень легко. Зал охнул — я это услышал.

Когда вес на груди и ты уже распрямился, нельзя долго стоять. Очень ограничен запас воздуха в легких, а дышать нельзя: разрушишь опору из мышц. Можно только перед самым посылом коротко захватить воздух ртом, совсем немного, чуть-чуть... И нельзя стоять — мышцы затекают. И вес нельзя перекладывать. Вес уже должен лечь на место, когда заканчиваешь выпрямление, в самый последний момент...

Выдрессировал себя...

В эти мгновения нельзя сомневаться, совсем нельзя, даже тень подобной мысли допускать нельзя. Любая мысль отзывается в мышцах и движениях. Необходимо подгонять себя уверенностью — тогда вес много легче.

Я присел коротко, чтобы вес не осадил. И ударил гриф грудью, силой ног. И я поймал его наверху, но чуть впереди и на едва согнутой левой руке.

Куцый посыл! Сомнения держали на поводке движения. Я незаметно для себя перестраховался. Все, что случилось с моими мышцами и суставами до этого — во Львове и на том, первом чемпионате страны, мозг помнил. Он по-своему оберегал меня, не пускал под тяжесть. Мышцы-антагонисты притормозили посыл. Гриф бился в руках. Осечка!

Я коротко шагнул вперед и попытался выпрямить руку. Она заюлила. Я поймал штангу и уже был под нею, но рука еще не вывела вес, не могла вывести. Я пытался темповым дожатием загнать штангу на место. Это не безвыходное состояние. В Стокгольме я установил рекорд в гораздо худшем положении. Тогда я просто шел за штангой и дожимал ее, почти такой же вес.

Штанга ломала меня. Мелькнула мысль: «Зачем? Ты уже первый! Медаль за тобой. Можешь установить рекорд после. Куда денешься?..»

И эта мысль тотчас отозвалась в мышцах. Она сразу разрушила опору. Я увернулся из-под веса. И в самом деле, зачем рисковать, еще найдутся соревнования.

Как не болела, а померла...

И запись тут же после выступления:

«Два зала: разминочный и для выступлений. Неумолчные жалобы Жаботинского. И у меня не меньше чувство отвращения к выступлению, но чтобы оно было и у Жаботинского?! После — омертвение в неудаче с рывком; второй раз в жизни я оказался в таком положении, а сила — огромная.

Предложение Жаботинского перед последним упражнением (мы стояли за сценой): «Давай закончим выступление? Сделаем по одному подходу на 200 для зачета — и финиш!!»

Так ведут себя лишь те, кто сломлен. И я решил: соперник сдался, треснул.

«Нет, — сказал я, — я буду клепать все по плану. Это мое последнее выступление. Я уже накрыл два мировых рекорда. Может быть, удастся и этот, в толчке. Не хочешь — не работай, а меня не держи. Не пойдешь на другие веса — я пойду...»

В ответ на мои слова Жаботинский снизил начальный подход с 205 на 200 кг. Я принял это как отказ от борьбы, как смирение. Испекся Леня. Зачем бахвалился тогда?..

И вот перед последней попыткой его внезапное появление — и неудача! Еще бы, он хотел срезать рекордный вес; он, который сломлен. Зачем он это делает, ведь он уже не верит в борьбу...

И я за ним попытался зафиксировать рекорд, но тоже срезался. Все, больше попыток у меня нет. Все выстрелены. Были три — и все выстрелены, но это не имеет значения: олимпийская медаль за мной, это факт.

И опять попытка Жаботинского — теперь уже последняя. Для меня — чистейшей воды авантюра.

Леня с рычаньем сбросил плед. Я видел, как он переглянулся с Медведевым, как рванулся к лестнице — всего пять ступенек на сцену. Что-то в его жестах, поведении насторожило. Я с тревогой впился взглядом в штангу. Она у него на груди! Он встает! Штанга на вытянутых руках!!

И крик Медведева: «Он же олимпийский чемпион!!»

Я окаменел».

Я проиграл из-за недооценки соперника и как следствие — потеря воли к борьбе. Разговоры с соперником, недопустимые во всю мою спортивную жизнь; его жалобы на усталость, а затем предложение отказаться от борьбы, удовольствоваться одним подходом в толчке, на начальном весе все и закончить нарушили великий закон борьбы — закон предельной собранности, а если грубее, без вежливости: я нарушил закон ненависти, закон яростного неприятия соперника — ненависти спортивной, на мгновения борьбы.

Это я все сам устроил, своими руками. Мне показалось недостойным: в одной команде выступаем, а будем в разных раздевалках. И я решительно потребовал, чтобы мы были в одной раздевалке. Зачем кормить сплетнями газеты и всю околоспортивную шушеру?..

Впервые я сидел, лежал бок о бок с соперником. Я и не смел предположить, что мы будем говорить, да еще столько. Жаботинский жаловался на спорт, клял и говорил, что бросит, не будет выступать. Я только удивлялся: ведь он еще и не хлебал большого спорта, откуда это, а после решил: я сломал его,

борьба сломала, не выдержал напора ожидания, а теперь — борьбы. Все это расхолаживало. О каком неприятии могла идти речь — какой злости, ярости, риске?..

Осталась всего-навсего необходимость выступать, а ярость и упорство стушевались...

А потом я прозевал перемены в сопернике, прозевал и расхолодился, а он собрался и совершил спортивный подвиг, свалив мировой рекорд. Мне показалось, не я окаменел, а все вокруг.

Все равно: надо уметь побеждать.

До конца бороться — и побеждать.

Господи, какая большая и сложная жизнь, а я мучаюсь честолюбием, ревностью. Да, да, я играл себя все эти годы, не был собой, предавал свою жизнь. Я страшился открыть себя, я прятался за слова, я отгородился целой системой слов. Обманная, фальшивая жизнь! Господи, как я позволил этой игрушечной жизни стать моей жизнью?!

Как легко и свободно, когда все это стаптываешь с себя! Нет прошлого — все достану, будущее — за мной.

И лишь через неделю в дневнике следующая запись, попытка изложить события более или менее упорядоченно:

«Олимпийское выступление.

Условия для разминки плохие. Проходной двор, а не место разминки, даже стульев нет, и болтается, кто угодно.

Писали, что зал переполнен, а я видел предостаточно пустых кресел.

Жим.

На моих глазах Шемански два раза ронял штангу перед судьями и лишь в третьем подходе изогнулся, задрожал, но выжал. Хоффман даже осунулся, а я почему-то припомнил наше столкновение в Будапеште. Вот и отвернулась фортуна, ребята. Несладко, а?.. Теперь поешьте того, моего хлебова...

«Если слез моих хочешь, ты должен сначала
Плакать и сам...»

Я в жиме чувствовал себя отменно. Однако излишне перестраховался в первой попытке. Сорвал вес одними руками, исключив начисто работу корпусом.

Жаботинский с весом 192,5 кг сел на ягодицы и, таким образом, сразу отстал. А я снова выжал вес и снова голой силой. Сколько же я чувствовал в себе этой силы!

В третьей попытке я пошел на 197,5 кг — рекорд мира. Хлопок судьи лег в самый раз. Я сорвал вес и едва не потерял равновесие. Штанга так послушно пошла, что я выпер ее одними руками. И уже в темноте (кислородное голодание) завел штангу на место.

Все несчастье рывка — маленький начальный вес. Я выхватывал штангу, не успевая толком развернуться под ней и почувствовать, чтобы уравновесить. Я вкладывался на полную, а вес был слишком мал. Я мог вырвать его в стойку. И только в третьем подходе — это и отчаяние, закованное в решимость, это и беспокойство, и омертвение чувств, и жестокий контроль чувств. Потом, в четвертой попытке, выхватил рекорд мира. От неуверенности и пережитого одна рука против правил чуть «сыграла», но судьи от обалдения ничего не заметили.

После рывка совершенное спокойствие — Жаботинский был сломлен, и я уже знал, что выиграю... И еще эти разговоры Жаботинского! И я пошел кратчайшим путем к победе!!..»

68

В 1957 году на чемпионате Вооруженных Сил во Львове я, тогда молоденький лейтенант, повредил позвоночник. В посыле, побаиваясь рекордного веса, который захватил на грудь, я вытолкнул штангу неточно. Эта неточность — один из подсознательных приемов страховки. Я не нагружал полностью спину, не замыкал суставы и мог в любой момент уйти от веса.

Когда штанга вышла на прямые руки, я неожиданно почувствовал, что она весит сущие пустяки. Вес мой! Должен быть моим! Я сунулся под него, но штанга валилась вперед. Я рывками продвигался за ней, стараясь поймать центр тяжести. И вдруг почувствовал, как мягка спина, потерявшая опору в беготне по помосту. А боль!!..

Штанга ломала меня, а я медлил. Я рассчитывал утихомирить ее. И лишь когда оцепенел от боли и желто, тягуче поплыл свет в глазах, а рот свела судорога, я выскользнул из-под веса. Я опоздал, но могло быть хуже...

С тех пор я потерял уверенный посыл. Все рекорды я устанавливал при изрядном запасе.

В 1958 году я впервые участвовал в чемпионате страны. И снова сошелся с рекордом в последнем толчковом движении. На этот раз «железо» наказало меня при уходе в «низкий сед».

Сидя на корточках с весом на груди, я слышал, как раздавливается хрящ в коленном суставе, и еще так громко трещат связки! Мне казалось, треск слышат все. Однако я снова, как и тогда во Львове, не бросил штангу. Взять рекорд! Зал стонал, топал, радуясь рекорду. И я, дурень, полез с весом вверх. Взять этот вес, удержать! Еще чуть-чуть! Взять!..

Я слышал, как хруст разъедает коленный сустав. Я выпрямился с весом, но послать с груди уже не мог.

Утром массивный гипс украсил мою ногу от паха до лодыжки.

После этих травм, по мнению многих, мне уже не было места в испытаниях большой игры. Знаменитый атлет съязвил: «Мальчик сразу из ясель пошел на покой...»

Но я стал приучать себя к «железу»; всему учиться заново; создавать свой стиль работы в темповых движениях, особенно при взятии веса на грудь. Меня ждал тот еще «покой»...

Однако метки той боли позвоночника зафиксировались в памяти — и это прорвалось наружу! Стоило чуть ослабить контроль, расслабиться — и прорвалось! Лишь на мгновение я сам перестал быть «железом»! Я отпустил ярость, я уже тешился медалью, не сражался, а играл...

69

Потрясение дало себя знать после, ночью. Уже в номере, расшнуровывая штангетки, я вдруг увидел их. Вдруг как-то отчетливо увидел свои старые штангетки!

Неужели все?! Я не увижу зал, зарево огней?! Все, теперь уже все! Я шагнул к окну и швырнул серебряную олимпийскую медаль в окно. Что за глумливая награда? За все годы в ярости

поиска, преодолении, жестокостях борьбы и беспощадности к себе — вот этот серебряный кружок на пестренькой ленточке?! Я отрекался от этой награды, не признавал ее...

Ночь эту отчетливо помню до сих пор. Одиночество этой ночи. Черную, хлюпающую мглу за окнами.

Та ночь после поражения...

Я казался себе смешным. Как же, в одиночку выстроить всю огромность силы, выгнуть на прямую все пути к силе — и подавиться ею!

Я отрицал усталости как слабость духа. Я наделял силу, тренировки смыслом одушевленности. Я выдумывал, выдумывал... Я слишком всерьез принял эту игру в силу. Ведь для всех она лишь забава, приятные часы у телевизора или за спортивной газетой. Меня дергали за шнуры самолюбия — и я кривлялся в потугах рекордов...

Нет, успех в жиме не расхолодил — это у автора отчета в «Советском спорте» из жанра фантазии. Не мог расхолодить. Я был горд рекордом. Рекорд в зачетных попытках — это истинно драгоценные килограммы. Я их добыл. И я пошел в рывке на вес Жаботинского — мне нужна была рекордная сумма троеборья. Только через рекордный рывок я мог ее достать. А я «засох» в рывке. Со всей своей дрессированной силой, самой большой силой, не сумел распутать движения. И понятно: я сорвался в упражнении, которое лишь кое-как освоил. Нужны годы, чтобы затвердить его. Подвел навык, автоматизм.

В мощном возбуждении навык дал осечку. В этом возбуждении все решает автоматизм движений, степень заученности. Тогда думаешь не о движении, а о победе, то есть силе. И мышцы сами выхлестывают на нужной силе. А как они выхлестывают — не помнишь, не знаешь: это все на заученности. И чем устойчивее навык, тем прочнее схождение всех рычагов, натяжений, режимов работы мышц.

Меня обыграли в рывке — я обязан отвечать силой. Не мог не ответить. Ведь я доказывал силу. Ведь вся эта игра и существует лишь для доказательства силы. Если не это, позволительно спросить: что взамен?.. И потом, любой твой успех — это удар для соперника, а такой, как мировой рекорд, даже не удар, а подрыв его веры и воли. Это я тоже учитывал.

Упреки обрушились и на моего тренера. Нелепые упреки, но опять-таки от незнания сущности дела. Да и как упрекать кого-либо из нас, не зная характера наших отношений, не зная задач, которые мы поставили для решения в тот вечер.

Какие подходы делать — решал я. Тренер в данном случае являлся надежным помощником, но последнее слово было моим. Я же прорывался к рекордной сумме, если не 600 кг, то предельно близкой к ней.

Я доказывал силу, а не торговал силой, не выгадывал силой. В эти часы никто не был властен надо мной. Отдав первые подходы для зачета команде, я сразу шел в бросок — встать на заветные килограммы. И утверждал принцип силы, порядок ее выражения.

Отбить у соперника охоту к борьбе, подавить его волю — вот что такое тактика высоких результатов. И я на нее очень рассчитывал.

Я сердцем принимаю ответ Михаила Голицына Петру Первому. Приступом Нотебурга — крепостицы небольшой, но толково

обороняемой, — руководил сам царь Петр. Против ожидания быстрого успеха не последовало, крепостица огрызалась пребольно. Петр приказал снять осаду. Приказ передали командиру отряда семеновцев подполковнику Голицыну. Подполковник руководил штурмом не из штабной землянки. На крепостном валу услышал повеление государя. В гневе, боевом запале отрезал посыльному офицеру: «Передайте царю, что сейчас я во власти не Петра, а бога!» И повел семеновцев в атаку...

Я не Михаил Голицын, а зал «Шибюйя» — не Нотебург, но владела мной решимость сражаться — не прикидывать, выгадывая.

Да и в самом деле, кто мы, если наши поступки, слова — лишь рассудок... Иначе поступить я не мог. Иначе — от торговли силой. Ведь была сила, много силы — и я вводил ее в поединок. И потом, как уступить в противоборстве, когда ты сильнее, привел себя к этой силе, жил ради нее, ради этих часов. Не ответить на вызов силой?!

В 1960—1962 годах я мог презреть вызовы Эндерсона, тренироваться спокойно. Я был слишком далек от соперников по любительскому спорту. И не бывать бы тогда критическому сближению результатов на чемпионате в Будапеште с Шемански. Без утомления, на свежей силе от зимних и летних тренировок я бы выиграл шутя. У меня все равно было преимущество. Правда, не такое, которое я тогда закладывал в мышцы... А тогда, затравленный экспериментальными тренировками, доведенный ими до нервного истощения, я едва наскреб силу для отражения натиска Норба. Но не мог же я увильнуть от вызовов Эндерсона, отдать тренировки пережевыванию упражнений и делать вид, что нет Эндерсона! Какой же я атлет, если посвящаю жизнь силе и меня срамят силой, а я молчу, ухожу от ответа?..

Жаботинский проиграл мне в жиме. В раздевалке он мне говорил, что тоже устал от спорта и бросит его. Накануне он всем говорил, что будет первым, а сейчас отказывался даже от спорта. Значит, борьба смяла его — так я понял.

«Давай, кончим! Ни ты, ни я не сделаем больше ни одного подхода!» — предложение Жаботинского. Мы стояли перед проходом на сцену. Оба разогрелись для последнего упражнения. Я сказал: «Нет!»

«Как хочешь», — и Жаботинский велел перезаявить свой первый подход на меньший. Для меня это было доказательством отказа соперника сражаться. Ведь в борьбе всегда завышаешь первый подход. Тут и задача тренера — не позволить зарваться: не дай бог, «баранка».

Соперник предложил больше не выступать. Соперник снизил подход. Мне стало ясно, что он сломлен, или, как говорят атлеты, накормлен «железом». Мне было ясно, что мои рекорды в жиме и рывке оглушили его. И я сбросил его со счетов.

Я почувствовал свободу. Теперь я один. Все подходы будет определять только целесообразность рекорда, точнее наката на этот рекорд... Я спокойно назвал тренеру цифры двух оставшихся подходов. Я мог бы установить другой промежуточный вес и обезопасить себя наверняка. Тот промежуточный вес я уже брал не один раз и зафиксировал бы уверенно. Тогда Жаботинский вообще не мог угрожать мне. Но в том-то и дело, что я уже не считал его соперником. Все факты выстраивались один

к одному, и вывод следовал вполне определенный: Жаботинский из борьбы выбыл, фактически признал свое поражение, ведь натиск я начал еще в Подольске.

Я назвал цифры подходов, думая лишь о рекорде. Я подчинил соревнования интересам рекорда — притирке промежуточным весом к рекордному, наивыгоднейшей разнице между промежуточным весом и рекордным. Рекордный вес не должен ошеломлять тяжестью. Я как бы накатывался на него через оптимальные весовые промежутки.

И я забыл о Жаботинском, для меня он уже закончил выступления.

Ведь еще, кроме этих слов, было много других. И все от настроения свернуть поединок, жалоб на усталость. Не мои слова. Но они тоже работали. Я ими проникся. Жаботинский до поединка вел себя так, словно моя участь решена. Это задевало. Я весь подбирался к схватке, настраивал себя на беспощадность. И вдруг — в жиме у меня мировой рекорд: можно понять Жаботинского. Рекорд в зачетной попытке! И ведь даже при срыве в рывке я остался впереди, а толчковое упражнение — из моих самое могучее. Надежд на победу у него почти нет — я так раскручивал его слова и поведение.

Ведь в памяти чемпионаты — и какие! В Будапеште Жаботинский вдруг отказался выступать, сославшись на больную кисть. А Стокгольм?.. Игра против своего вопреки обязательствам; совершенно ошеломляющий натиск заодно с американцами... Здесь — все эти спектакли у Зои Сергеевны Мироновой... Для Жаботинского не столь унизительным явилось бы поражение. При обоюдном согласии все выходило вполне сносно: у Власова — успех в жиме, но неудача в рывке (конечно, относительная, ведь я установил рекорд мира), и все же у него, Жаботинского, — определенное возмещение: пять килограммов отыграны в рывке, а в толчковом упражнении мы мирно расстаемся на заурядных весах. Все это само собой подсказывало сознание, точнее, навязывалось сознанию фактами...

Я уже сражался не с соперником, а со штангой — это слишком серьезная разница. Это искажение закона борьбы. Не та ярость, не та мобилизация, не та решимость и цепкость. Для меня это уже была не борьба, а всего — лишний рекорд. Медаль для меня уже отчеканена... в золоте! Ведь соперник предложил мировую...

Я нарушил великий закон борьбы — закон собранности. Для меня он имел всегда первостепенное значение. На этом чувстве я выиграл когда-то в Горьком, потом в Будапеште, Стокгольме... Да, всегда я проникался жгучим неприятием соперника, оно закладывалось в мышцы и волю.

Я был очень удивлен, когда Жаботинский вдруг вызвался на 217,5 кг. Но эта его первая никудышная попытка — 217,5 кг даже не приподнялись выше колен. Обычно под вес все же пытаются прорваться — это от ярости борьбы, серьезности намерений, не от блефа. А мне соперник еще раз показал несостоятельность. Полная потеря себя в усилии.

Это была столь впечатляющая демонстрация бессилия, что меня сразу бросились поздравлять с золотой медалью. Для всех я уже был победителем.

Для меня 217,5 кг — мировой рекорд — и только! Победа уже за плечами. Я лишь должен освоить новый рекорд. И я пошел

спокойно, деловито, ничто не угрожало мне, а когда штанга неточно пошла в посыле на груди, я и упираться не стал.

Я этот рекорд увидел в завтра. Все равно надо собирать заветную сумму. Здесь не сложилась, будет завтра.

Зачетных попыток всего три, мои — исчерпаны.

У Жаботинского же — еще одна. И он с блеском ее исполнил. Я беспомощно глазел. Но уже никто меня не вызовет — все попытки использованы. Я всего лишь зритель.

Робости и зависимости от штанги не было и в помине. Я владел собой надежно. И, однако, все получилось совсем не так, как мы это задумали с тренером. Выступление было замешано на противоречивых установках. И свое понимание событий внесла стихия, то есть темперамент (азарт, страсть). Штанга подчинялась моей воле, но я уже не был рабом расчета, свое место заняли страсть и азарт. И я увлеченно, самозабвенно побеждал, чтобы... проиграть.

70

Сколько же раз я возвращался в памяти к этому выступлению, особенно последней попытке в толчке! В ней отсутствовала воля сопротивления. Я нарушил закон собранности — и поплатился...

Вес я брал на грудь с запасом, вставал легко. Ведь на тренировках я гонял себя в приседаниях с весом 275 кг на плечах.

И посыл с груди этих рекордных 217,5 кг почти удался. Вес чуть-чуть не добрел до распрямления рук. Я уже прилаживался его дожать в темпе. Но мысль о том, что это всего лишь рекорд, совсем иначе заставила себя вести. Она уже сидела приказом в мышцах. Я был уже в чемпионах. И без этой третьей попытки я выходил на первое место. И я не стал бороться с весом.

«Ерунда! — решил я. — Все равно уже два мировых рекорда сегодня мои — в жиме и рывке! И я чемпион! Все сбылось! Конец!»

Я не знал, что через несколько минут проиграю.

Я уходил с помоста, опустошенный борьбой, немного раздосадованный, но, в общем, довольный. Я сумел вложить наработанную силу в подходы. В рывке я, правда, сорвался и «засох» на первом подходе, но я все поставил на свои места, когда четвертой незачетной попыткой установил мировой рекорд. Если бы тот вес оказался зачетным!

Навстречу поднимался Жаботинский. А потом случилось то, чего я не ожидал. Он превосходно взял вес, который сразу вывел его на первое место. Откуда эта перемена? Откуда этот взрыв силы? Ведь он сломлен, он не способен к борьбе, он практически выбыл из борьбы! Что случилось? Как это могло случиться?! Как я проглядел эту перемену?! Как это стало вообще возможно?!

У меня не было подходов для ответа...

Господи, сколько же я об этом думал!

Первые шесть мест после соревнований атлетов тяжелого веса распределились: Л. Жаботинский (СССР) — 572,5 кг (187,5+ +167,5+217,5), Ю. Власов (СССР) — 570 кг (197,5+162,5+210), Н. Шемански (США) — 537,5 кг (180+165+192,5), Г. Губнер (США) — 512,5 кг (175+150+187,5), К. Эчер (Венгрия) — 507,5 кг (175+147,5+185), М. Ибрагим (Египет) — 495 кг

(162,5+145+187,5) — и командные: СССР — сорок три очка, Польша — двадцать пять очков, Япония — двадцать два, США — двадцать, Венгрия — восемнадцать, ЧССР — девять.

Если не считать атлетов довоенного времени, когда сборная не участвовала в чемпионатах мира и официальных международных турнирах, кроме рабочих и профсоюзных встреч, я оказался во втором поколении советских атлетов. Первое сражалось за утверждение нашей тяжелой атлетики в мировом спорте. Поражения от американцев, и отчасти египтян, следовали одно за другим. И все-таки это поколение прорвалось к победам. Мы учились у этих атлетов, гордились даже обычным знакомством. Они попали под удары самых сильных и все же заставили их уступить золотые медали чемпионов. Поколение победителей: Григорий Новак, Иван Удодов, Рафаэл Чимишкян, Николай Саксонов, Трофим Ломакин, Аркадий Воробьев. Их опыт помог понять тренировки. От них сборная второго поколения впитала дух победы, дерзости поединков, страстного упорства в столкновении со всеми королями помоста. Для нас это — легендарные имена. Без практики международных встреч, в условиях тренировки, которые ныне кажутся жалкими, они врубились в толщу мировых рекордов и чемпионатов — и вырубили победы, рекорды и самое понятие: «советская школа тяжелой атлетики».

Мы, атлеты второго поколения, уже приручили победы. Командой мы не проигрывали чемпионатов мира.

Время чистой и благородной силы.

Все препараты, искусственно взращивающие силу, были применены во второй половине шестидесятых годов, когда мы уже ушли с помоста.

Эти так называемые восстановители силы исказили облик мирового спорта.

Настоящую силу побед учили нас добывать тренеры Я. Ю. Спарре, Я. Г. Куценко, Н. И. Шатов, А. И. Божко, Л. Б. Механик, Д. П. Поляков, С. П. Богдасаров.

Богатое прошлое всего русского силового спорта явилось благодатной основой, без которой немыслимы были бы все последующие успехи. Великие имена атлетов прошлого, их подвиги одаряли любовью к «железной игре» — за честь своей страны и во славу спорта!

Славные традиции русской силы. Ее воплощали девизы первых русских атлетических журналов:

«Каждый человек может и должен быть сильным» — «Геркулес»; «Двигайтесь и тренируйтесь, ибо в движении — жизнь, в застое — смерть» — «Сила и здоровье».

Нет и не могло быть нас без страсти к силе наших предков, без почитания силы. Я весь из этих чувств, только вносил свое отношение к силе: очищать ее от слепоты.

Сила — это и поэзия, и разум.

Я стремился к единству формы и содержания. Человека не должна унижать физическая немощь. И в то же время человек не смеет отрывать идеалы от практики жизни. Сила, тренировки, поединки закаляют для жизненной борьбы вообще. Звон слов должен быть и металлом дела. Все, что человек делает, должно в итоге воплощаться в утверждение принципов справедливости.

Владение телом, упоительность движения награждают высоким наслаждением. Наслаждения такого рода воодушевляют,

защищают мысль, оплодотворяют волю и мысль свежестью, чистотой и здоровьем.

Жизнь — не только борьба за коллективное начало, но и борьба за широту, глубину и яркость человеческого «я». Эта борьба множественна. И большой спорт — игра с очень серьезным смыслом. Именно из этой множественности борьбы возникло общественное явление — большой спорт и разные формы его, и разные взгляды на него.

71

Никогда не имел я возможности столь выразительно слышать время, как в Вене.

В ту пору, в шестьдесят первом, город — хоть и столичный — был по укладу провинциальным.

Вечерняя мгла затушевывала городскую четкость, смывая все в единую темную массу. Глохли, избывая, шумы. Уже после восьми часов в узких окраинных улицах даже обычные голоса разносились до неприличия громко. Покой, дымка, какая-то мечтательность в теряющих четкость предметах... словом, то состояние, когда взгляд нередко устремляется внутрь себя.

Если посидеть спокойно, вот так отдаваясь течению мыслей, то можно было послушать, как падают каштаны. Они срывались резко и неожиданно среди безмятежной тишины и неподвижности вечера.

После психоза переполненного зала, выворачивающих усилий в доказательствах своего превосходства, бешеных бросков за золотой медалью и всей лихорадки страстей от этого мира сгущающейся тишины веяло мудростью и достоинством. Нелепыми и какими-то кривыми, ненастоящими казались те забавы на подиуме чемпионата мира.

Я забывался, уходя в видения будущей жизни — жизни без забав на потеху публике, без боли растравленного самолюбия, насилия над своей волей и истинным назначением. А кругом, в парке, маленьких дворовых и ресторанных садиках, срываясь, постукивали каштаны. Возникало ощущение, будто в землю ударяются не каштаны, а ведет свой счет... время. Отмеряет дни, часы, мгновения... — и все в невозвратности.

Это поражало — я засиживался до ночной темени. И в ней по-прежнему продолжали выбивать свой ритм каштаны: уже и не каштаны, конечно, а воплощение самого времени...

Я приходил послушать их в свободные вечера, а они почти все были у меня свободными. Перед соревнованиями копишь силу, а это значит, во всяком случае для меня, постараться быть одному, избегать напряжения в разговорах и утомления от движений. В общем, скамейка ждала меня каждый вечер, и после посиделок с Громовым * я приходил к ней — и сразу ослабевала хватка забот и тревог...

То ощущение ухода жизни было настолько явственным, что удержалось в памяти прочнее, чем сам мировой чемпионат, краски которого изрядно выцвели, пообтерлись, а то и вовсе исчезли, хотя там, на помосте, происходила довольно суровая

* М. М. Громов — знаменитый летчик, генерал-полковник авиации, в молодости занимался тяжелой атлетикой, был чемпионом страны в тяжелом весе в 1923 году, а после войны недолго возглавлял Всесоюзную федерацию тяжелой атлетики.

проба на прочность, вроде бы должна была врубиться в память навечно.

Минуло двадцать шесть лет. Эти строки пишу вдогонку давным-давно законченной рукописи (в который уже раз!) в октябре 1987 года. А главным в памяти оказались именно те вечера — не победа, не опьянение рекордом, а плавный ход тех вечеров с «каштанным боем времени» — четкие, прерывистые звуки. То глуше — удар в землю, то звонче — удар в стол или скамейку, то шелестяще-живой — удар в палую листву, то зависание тишины...

Вот так, по-своему запечатлелся в памяти и Токио — вместе с горечью поражения, но куда несравненно ярче: ветер за окном, погромыхивание рам, тягуче-немощные дожди, тепловатый маслянисто-влажный воздух — и плита бесконечной усталости, нет, не физической...

Лечь бы — и не шевелиться.

Пожалуй, это совершенная правда: старость — это прежде всего величайшая в мире усталость. Да, мне было далековато до старости, я был в зените молодости, но, забегая вперед, вдруг осязаемо-четко смог представить, что такое старость.

Лечь бы — и не шевелиться.

В той усталости скорее всего и хоронилась неизбежность поражения, если не в Токио, то в самом близком будущем. Ведь для меня, в глубине души, в правде перед самим собой, не нужны были никакие доказательства (они не захватывали меня, были чужды) моего превосходства. Да и смысл всей той натуги (и прошлой, и будущей) — обезьяний, от ограниченности, когда чувства вместо прямого роста идут вкось, на изгиб. Что-то ползучее, фальшивое придают им доказательства твоего превосходства над всеми и каждым...

Ничего не надо, только лечь — и не шевелиться. Вот и все, что припасла для конца Великая Гонка... Там, за горизонтом...

Это может сойти за выдумку, преднамеренность, но я тосковал об одиночестве, о полной достоинства жизни — без чужих слов, выпрямлений по чужой правде, ковыряний в тебе и твоем сокровенном, чужого надсадного любопытства, гадкого прикладывания чужих мерок души к твоей и липкого, гнусного измельчания в сваре чувств...

Борьба...

Первый... Золотой... Заткни... Задави... Выстой... Лучший... Непобедимый...

Я почти бежал навстречу одиночеству. И когда оно сомкнулось — не пожалел. Это был чистый воздух, не отравленный ничьей скверной.

Все удары сердце выбивало громко, отчетливо.

Я смывал мерзостный грим, учился настоящим словам.

Оглядывался: где же молодость? Я не видел ее, не жил совсем — одна горячка, один вибрирующий раскаленный нерв, зады и черная пелена в глазах, — а нет этих двенадцати лет, нет...

Я и не заметил этих лет — с юности и до тридцати... Все выжег азарт поединков, запластовал жир грима и завалили вороха, груды фальшивых или ненужных слов и отравленных желаний. И в памяти — тяжесть надорванности... и неуважение к себе.

Важен не успех перед людьми, не то, что выдается за ценности (и ты сжигаешь ради этих ценностей жизнь), а твой суд над собой и перед самим собой.

Нет ничего унизительней, чем жизнь единственно ради насыщения честолюбия, ради доказательств своей исключительности, превосходства — пусть даже просто значительности. Это прежде всего оскорбляет... себя оскорбляет. И всякое нарушение естественности чувств — уже разлад с собой и кружная дорога в жизни, часто — как петля...

Нет ничего целительней, зато и трудней, чем отказ и подавление своего второго «я», которое непрерывно заявляет о себе, доказывает свое исключительное право быть тобой и требует неустанных усилий и доказательств для своего утверждения. Это «я» ненасытно и самоистребляюще по своей природе. В нем источник самоотравления.

Будь проклят этот второй человек в тебе — человек тоже с твоим именем! Но отказ от этого второго человека, подавление его в себе и есть то, без чего жизнь со временем становится тягостью, страданием, одной выгодой и подлостью. Именно в этой нехватке чистого воздуха человек предает себя, ранит себя и других, отныне и во веки веков считая только себя правым.

Весь этот большой спорт — явление, рожденное в значительной мере искусственно, — оказался для меня (не распространяю такое мнение на других) купанием в нездоровых страстях. Впрочем, большой ли спорт виноват?.. В любом случае эти доказательства твоего превосходства — от суженности жизни. Сам мир этих доказательств — в смраде, низменных побуждениях и потрафлениях инстинктам. И не хочешь, а тебя затаскивает в грязь. Слишком много животного будит эта жизнь, слишком близко пролегает к животному.

В истинной жизни — жизни согласно природе и внутреннему смыслу — никогда не надо доказывать это «я», надо жить. Ты и есть доказательство всего.

Что до силы... она была и будет доказательством лишь для рабов по натуре, ибо только раба по натуре убедит и смирит сила. Это мое самое главное, стержневое убеждение.

С этим чувством я жил в спорте. Оно не сразу стало таким осознанным. Но уходил я с глубоким отвращением к прошлой жизни, с презрением к ее лживым божествам, с верой в первородство души и жизни по естественности чувств, святости человека.

В человеке два начала: духовное и животное. Отсюда двойственность его природы и, стало быть, все противоречия. Одно тянет в одну жизнь, проявляет себя больше; другое на время уступает... Случается, животное начало и руководит всей жизнью...

Все это старо, давно известно, но знание не делает тебя другим, не вносит мир в твою душу. Страсти и рассудок в непрерывном несогласии и борьбе. И так сложно прийти к миру в себе. Только чрезмерная усталость, или громадная боль, вдруг создает желанный покой — не покой, конечно, а видимость покоя...

Что до спорта... существует любовь, страсть — они выше благоразумия, расчетливости, выгод, инстинктов и болезненного, на-

рывного «я». Это великое, огненное и созидательное чувство. И я верю, что оно, и только оно, — в основе всех подлинно великих свершений в спорте.

72

«Два самых сильных человека России — Хрущев и Власов — пали в одно время», — напишет японская газета (и действительно, реакционная бюрократия лишила власти Хрущева именно тогда).

«После поражения непобедимый Власов заявляет об отказе от дальнейших соревнований... 18 октября в 19 часов 45 минут (по японскому времени) окончилась безраздельная гегемония Власова. Когда оркестр готовился исполнить советский гимн, побежденный, такой спокойный, словно он был зрителем, поведал нам: „Это в последний раз. Я не могу перенести того, чтобы быть вторым. Я хочу быть первым, только первым!"»

Я слышал много отзывов об этом поединке. Мне приписывали слова, которые я не говорил; чувства, о которых знать, естественно, мог лишь я, и намерения, которые были вовсе мне чужды, но эти слова репортеру «Экип» я сказал. Когда я их прочитал, мне показалось сначала, что это — ложь. Но потом я все вспомнил...

Я стоял в коридоре. Я еще не мог опомниться, когда меня начали фотографировать со всех сторон и засыпать вздорными, порой унизительными вопросами:

— Это организованный загон? — особенно настойчиво спрашивал через переводчика какой-то человек.

Я глянул: на пиджаке значок представителя прессы.

— Против вас сыграли свои, да? Это загон, да? — продолжал выкрикивать он.

Я только махнул рукой. Так хотелось сказать: «Отстаньте!» Всем хотелось знать, какой я после поражения. Такое липкое, настойчивое любопытство!.. А там, в другом конце коридора, прудила толпа вокруг Жаботинского. Со мной почти никого, кроме нескольких журналистов. Им важно сделать материал похлеще, мне — любой ценой не выдать настроение. И тогда я произнес эти слова. Рэнэ Моизэ из «Экип» спрашивал на правах старого знакомого, и я ответил. Я подчинился первым чувствам, но только в одном желании — не быть жалким, не показаться сломленным, побежденным. Я не верил, что есть в жизни такая сила, которая способна сломить меня. Убить — да, но сломить, приручить — нет, это исключено... Никто не заставит меня просить пощады — я в это верил, потому что это — моя суть. Сделать меня другим — значит убить меня. Я не могу иметь другое лицо, голос — это невозможно. Многому научила меня жизнь, но не отказу от себя и своих убеждений.

Какое-то время я не уходил. Нельзя дать и этот шанс журналистам. Завтра же все спортивные газеты напишут, будто я спасался бегством. Я улыбался и отвечал по возможности обстоятельно. Впрочем, улыбка была естественная. Все внутри окаменело и мне, как это неправдоподобно ни покажется, очень многое представилось уже вздором, базарным и ненастоящим.

Я не стал дожидаться окончания Олимпийских игр и через день улетел в Москву.

Обнять Наташу, увидеть в ее глазах нежность, прильнуть к ней — и пить ее, пить... Все смыть, все позабыть — слышать только ее: мягкие, теплые руки, губы на твоих щеках, чуть картавый голос...

73

Разве это книга о спорте — тренировках, поединках, рекордах, славе и обманах славы и славой?..

Это книга о людях и жизни. Люди строили что-то новое в жизни. Это новое не давалось и наказывало их. А люди не уступали, хотя и пригибались под поражениями и страданиями.

Это была обычная и необычная жизнь — маленький скол ее со своим характерным строем борьбы. Люди назвали этот ее скол Спортом, но это была все та же жизнь, точнее, это было от одной необъятной жизни всех.

Особенность этой жизни, называемой Спортом, в том, что она развивается, главным образом, на виду у всех, и она очень короткая, гораздо короче той, что мы называем обычной, то есть жизнью всех.

Нет, это не воспоминания о Спорте; это исповедь о надеждах, вере, крушении надежд... и негасимом огне веры.

74

Я был действительно в хорошей форме. Мозоли на руках избыли лишь через год...

Справедливость силы, святость побед, поиск силы — слова, слова... Я дал обещание больше не быть атлетом, не смотреть поединки, забыть свое прошлое. В том прошлом я казался себе выдуманным, больным манекеном сверхчеловека (если только манекен может болеть).

Святость силы, справедливость силы, благодарность силы... Я не читал ничего о соревнованиях. Недоразумением и глупостью считал ту жизнь. Потерянные годы... Гладиаторство...

Догнать время! Взять это время! Вернуть его исступленной работой! Снова найти себя! Утопить в работе память прошлого, излечиться от прошлого, отречься от прошлого. Найти себя. Опрокинуть пошлую истину той единственности в «железе». Живет, борется, страдает другая жизнь — огромная жизнь. В ней тонут все прочие ограниченные смыслы. Служить этому общему смыслу.

«Уйди так далеко в себя мечтой упорной,
Чтоб настоящее развеялось, как пыль...»

Страстное и преданное чувство Наташи постоянно наделяло меня сознанием мужского достоинства и силы. В самых серьезных испытаниях я устоял, лишь опираясь на неиссякаемое мужество этой хрупкой женщины.

Она постоянно дарила мне ласку, нежность и великую веру в мои силы и способности. Я был несокрушим ее чувством.

Теперь, в 1986-м, в пятьдесят один год, я иначе смотрю на мир.

Я не верю в то, что люди называют любовью.

Любовь дает человеку слишком высокую энергию жизни — ответственность и натянутость в каждом мгновении ее слишком категоричны.

Я верю в дружбу — она тот ровный, верный огонь, который надежно и преданно обогревает нас. С годами чувства в дружбе приобретают совершенно иной характер. В них появляется столько нежности, пластичной мягкости, сбережения женщины-друга, столько тактичности, столько радости, что это, надо полагать, и есть та самая любовь. Возможно, такая дружба неизбежно переходит в любовь.

Но это уже не та любовь, которую мы знаем. Это чувство гораздо более высокого порядка. Его можно назвать любовью-дружбой, но мотив дружбы всегда звучит мощно и властно. И это делает любовь немеркнущей и неспособной к разрушению. Есть нечто большее, чем физическая близость и страсть, — нужность друг другу, духовное родство, величайшее понимание друг друга с неизменным следствием этого — терпимостью.

Там, где настоящая дружба, любовь никогда не гаснет.

Мне представляется величайшим даром судьбы для мужчины и женщины эта любовь-дружба.

Она не способна к измене, непорядочности — это не из ее природы. Она обычно обрывается только смертью, одной лишь смертью — и ничем больше...

«Любите меня, пока я жива...»

75

В Хабаровске я оставил «ТУ-114» с олимпийской делегацией из-за мозгового спазма. Самолет ушел по графику, меня не стали ждать. Самолет улетел, а мне куда? Слабость, порой рвота с кровью, и земля норовит сбить с ног...

В Хабаровске уже поздняя осень, морозит. На мне нейлоновый плащ, летний костюм. Распаковал сумку, надел шерстяной костюм с белыми нашитыми буквами «СССР» — и на скамейку: отлеживаться. День к вечеру. Чужой город. Какой-то человек углядел под плащом буквы, притащил очень крепкий чай в кружке. Не чай, а чифир. Полегчало, смог подняться, уйти в сторонку, где никого нет. Стыд не позволяет быть слабым на виду у людей. А тот человек не бросает, помогает: то сумку возьмет, то подопрет — уж очень мутит меня. Я только поглядываю на него с благодарностью. Он маленький, до подбородка мне. Наконец нашел скамейку в стороне от здания аэропорта, здесь ряды высоких тополей и никого из людей. Ветер с поземкой, леденящий. Я лег на скамейку. Человек достал старое тонкое одеяло — вроде солдатского, накрыл меня, сел рядом. Он невзрачен, плохо брит, в руках не рюкзак, а скорее котомка — уж очень заношена... Я подумал о тех многих десятках людей и Воробьеве, которых унес «ТУ-114». Скоро прилетят в Москву. Наташа будет волноваться...

Кружка чая...

И я забылся на час. Человек не оставил, стерег меня...

Если бы я сейчас мог встретить его! Пусть удача и здоровье не обойдут его!..

А раскис я тогда основательно. Даже в забытьи мутило и все не хватало воздуха.

Очнулся. Человек спрашивает, куда я теперь. Говорю, надо на поезд, самолет сейчас не для меня. Спорол с куртки буквы «СССР» и отдал человеку. «На память», — сказал я ему. Он стал предлагать рубли на такси — отказался. На такси меня умотает. И так весь дрожу, не от холода, конечно. Слабость такая: ткни — упаду. Простились. Я кое-как пошел. Понимаю одно: надо спешить, пока еще не кончился рабочий день. Уже план есть: занять деньги в Окружном доме офицеров. Представлюсь — не должны отказать. И точно — ссудили деньги под расписку. По правилам, когда выезжаешь за границу, сдаешь все до рубля (тогда было так). Так что и чай, если бы захотел, взять не смог бы. И вообще ничего не смог бы: без копейки, без документов. На счастье есть хоть олимпийское удостоверение — это для Токио, но при случае сгодится и здесь. Впрочем, в Окружном доме офицеров без того узнали и поверили...

В поезде спазм не отступал трое суток. Я лежал в полузабытьи, не ел, не двигался. Вагон насквозь пустой, гремит, мотается.

Проводник — степенный, словоохотливый украинец узнал меня по газетной фотографии. Принес газету, в которой все о моем поражении, и вот тут очень забавно выразил свои чувства: «Да-а-а, бывает! Настоящая зеленая собака!» И стал меня уговаривать не грустить, он решил, что это я от расстройства чувств морю себя голодом и третьи сутки не выхожу из купе. Я и рад был бы встать, да спазм к полке припечатал.

Я ехал в одиночестве, все купе пустовали. В Иркутске я одолжился у своего поездного хозяина и самолетом вылетел в Москву. Организм уже преодолел слабость.

К тому времени неведение Наташи переросло в отчаяние. Когда я вдруг появился на пороге, она почти без чувств упала мне на грудь и зарыдала.

Все эти дни она металась в поисках. Никто ничего не мог сказать — и это было самое ужасное. Она не спала, звонила, телеграфировала, писала.

Спустя час я, прикладываясь к коньяку и заедая его пшенной кашей, рассказывал обо всем.

Хозяйство было заброшено, в доме ничего не было, кроме булки, уже наполовину съеденной, и кастрюльки каши.

Зеленая собака...

Я был очень спокоен на олимпийском помосте. Даже газеты не без удивления помянули об этом. И после я был спокоен.

«Но мне по-прежнему знакома радость. Радость, имеющая тысячи лиц».

Это как в старинном русском песнопении: ярость, зло, зависть, смерть... не отрешат от жизни вечной.

Не отрешат...

Не ложиться в яму судьбы...

В те дни я решил продолжить «железную игру». Взять шестьсот и уйти. А для этого привести себя в порядок. Достаточно года неторопливых тренировок. Я и предположить не смел, что мне в этом откажут...

«Власов был буквально деморализован неудачей в Токио...» — написал один из «биографов», который все ведает обо мне (недавно опять напечатал мою биографию), совершенно не интересуясь мной и питая застарелую неприязнь ко мне.

Курьезны эти биографии. Их пишут после одной встречи, часто даже после вялой часовой беседы. В них так все лихо расставлено! А этот «биограф» вообще не знался со мной после Олимпиады в Токио. Следовательно, не слышал от меня и о поединке в Токио.

Штанга на весах времени.

Что характерно — никаких желаний сводить счеты, посрамить соперника. Только собрать шестьсот! Я рассчитывал отдыхом вывести себя на тот единственный результат и тогда атаковать, вломиться в него. Отдых оказался невозможным. В нем было отказано. Причины те же самые: если остаюсь в большом спорте, должен выступать, да еще по календарю.

Особенно настойчивым в изживании меня из спорта оказался Гулевич — начальник отдела тяжелой атлетики армейского клуба. А ведь никто не поздравлял меня с победами столь горячо, как он. Спортсменом он никогда не был: похоже, не только спортсменом...

В сборной команде страны этим в неменьшей степени был озабочен Воробьев. И уж как мог ему пособлял Дмитрий Иванов, штангист, ставший спортивным журналистом.

А я нуждался в сбросе нагрузок, одном затяжном щадящем ритме без выступлений.

Что значит выступать? Я не смел бы отделываться посредственными результатами и подтверждать тем самым «закономерность» своего поражения. Значит, стирать себя в бессмысленных выходах «ради зачета» на большой помост. Все выходы бессмысленны, если не открывают новую силу, не подводят к новой силе. Соревнования перемалывали бы силу, взводили на травлю результатами, а я и без того был нервно измотан.

76

В Токио, после выступления, я получил странное письмо, на итальянском языке; вернее на какой-то смеси итальянского и французского да еще с латинскими вставками.

Перевод его озадачил.

Все там было: и спортивная история, и советы, и сочувствие, и даже рекомендации для любовных отношений с женщинами. Среди всего этого выделялась заключительная фраза:

«Если хотите достигнуть успеха в жизни, а ваша борьба трудна и опасна, делайте свое дело в одиночку — никто не продаст, а самое главное — будьте наибезобиднейшей тварью, двуногой тварью с очень примитивными запросами. Зато в решительный момент — момент, определяющий всю вашу жизнь, — вы неожиданно предстанете для всех коброй. Понимаете: вы всегда и всего лишь безобидное существо, а по сути — мудрая кобра. Только в этом случае ваш удар будет сокрушительно разящ, а успех неотразим...»

Много позже хлынули письма упрекающие, разоблачающие, поучающие, ухмыляющиеся...

Но то, из первых, я запомнил: путь к победе — всю жизнь быть мирным, безобидным существом, чтобы вмиг стать коброй...

Взглянуть бы на автора письма. Судя по почерку, не старый человек: буквы узкие, вытянутые, но сильные.

Каких только советов не наслышался я за свою спортивную жизнь... До чего ж люди жаждут победы!

77

По количеству рекордов 1964 год оказался для меня самым урожайным. Вот они с учетом проходных:

в жиме: 196 и 197,5 кг;

в рывке: 168, 170,5, 172,5 кг;

в толчке: 215,5 кг;

в сумме троеборья: 562,5, 570, 575, 580 кг.

Десять мировых рекордов!

Таким образом, в последний год выступлений я установил наибольшее их число, причем с внушительным наращиванием каждого. Моя сила была не на исходе. Наоборот, набор ее шел круто по восходящей. Физический расцвет был впереди. Поиск силы, наделение силы разумом оправдались. Все замыкалось на невозможности сочетать два очень серьезных, творчески нервных, изнурительных дела: литературу и спорт. Причем к жизни литературной я так и не успел подготовиться. Слишком мал оказался срок. Что верно, то верно: служить двум богам нельзя.

Моя книга «Себя преодолеть» вышла за несколько недель до Олимпийских игр в Токио. Художник-оформитель переживал: на обложке крупный серебряного цвета круг. С беспокойством спросил: «Вы не в обиде, вроде накликал «серебро», знакомые попрекают: сглазил!..»

После выхода книги меня опять стали поносить за сгущение красок, преувеличения. Но каким же я должен был изображать спорт? Ведь я сердцем принял его суть! А зная, лгать?! Лгать на свой труд и труд товарищей?!

Поражение в Токио оказалось единственным за всю мою спортивную жизнь. На большом помосте я не знал поражений. И никогда не уклонялся от борьбы, прячась за мнимые или действительные болезни. Все соревнования я доводил до конца.

Великая гонка сильных не признает исключений. Я отказывался принадлежать ей. И я выпал из нее.

78

Я долго не был в залах. Любое сравнение с атлетом оскорбляло. Мне казалось, на мне снова застегивают ошейник той жизни: только «железо», только помост, только заботы о еде. Нет! Нет!..

Эти тренировки — каждый вес держи под контролем. И это постоянное напряжение — вслушиваешься в себя: как ведет себя организм, как принимает работу, где сбой... И забота: перемолоть усталость к следующей тренировке. И это желание отлежаться и никого не видеть...

Непомерность завязанной силы. Завязанной — потому что не приспособлена к жизни. Искусственная сила, совершенно ненужная и лишняя для жизни. Обременительная для здоровой жизни. Здесь все от ложного представления здоровья и счастья...

Лишь в 1974 году воровски, глубоким вечером, задворками я пришел в ЦСКА к своему залу. Как далек я был от себя — атлета! И как дороги были те годы! Вытравить их из себя я не мог. Наоборот, они прибрели новый смысл. Чистой, лишенной фальши, благородной и достойной представлялась та борьба.

10 сентября 1975 года я получил приглашение на чемпионат мира по тяжелой атлетике — он впервые проводился в Москве.

Я не решился пойти ни в первый, ни во второй, ни в третий дни... Я не выдержал и пошел во Дворец спорта на восьмой день чемпионата.

Лужники! Я сжался, когда вошел. Исподлобья, осторожно приглядывался к залу. Здесь, в 1958 году, я впервые выступал на международных соревнованиях. Плохо, правда... Здесь же, в 1961 году, выступил на матче сборных команд СССР и США. Здесь установил рекорд...

Все в зале было таким же. Пестрые флаги стран — участниц чемпионата, сиренево-белый дрожащий свет прожекторов, встречающий атлета на сцене, и даже голос в репродукторах. Соревнования вел секретарь Международной федерации тяжелой атлетики англичанин Стейт. Под его слегка гнусавый и невозмутимый речитатив уже полтора десятка лет выступают атлеты.

Я мгновенно стал мокрым, будто работал сам. Сердце торопилось напоить мышцы кровью. Звон «железа» на помосте отзывался в мышцах.

Я задохнулся беспокойством. Вот сейчас меня вызовут! Какое-то наваждение! Даже голос моего тренера — он сел рядом со мной.

Подошел бывший вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики Назаров и попросил вручить медали призерам чемпионата. Я всегда избегал роли почетного генерала, но вручить медали атлетам... Разве сам я не атлет, разве не отведывал всех этих «соленых радостей железа»?..

Я пошел с ним за кулисы. Атлеты готовились к вызову. Сразу же после награждения борьба возобновлялась. Я слышал скороговорку тренеров, лязг дисков, мелькали горячечные лица. Мне объяснили, как я должен выйти и что сделать.

Слева, возле занавеса, стояли болгарин Христов, старший тренер болгарской сборной Абаджиев, с ними еще несколько человек. Абаджиев что-то говорил и энергично показывал. Глаза Христова широко открыты. То, что он увидел сегодня, всего несколько минут назад, потрясло его: эта победа и отклик зала! И собственная сила, такая вдруг неожиданно-большая, легкая, кажется, весь мир уступает тебе, радуется, зовет тебя. В его облике не было сдержанности, сосредоточенности, свойственной опыту. Он отдавался непосредственным, первым ощущениям, как отдаются большой любви: без оглядки, в восторге чувств.

Мне вдруг захотелось подойти, но я сдержался. До того ли ему сейчас. Стоит ли путаться с выражениями чувств? А потом я не знаю, какой он, как поймет. Я все-таки был чемпионом, знал громкие победы, триумфы побед, семь лет носил титул «самого сильного человека мира». И потом я узнал очень многое о силе, и это за мной узнали другие. Я помню: в Вене, на афишах чемпионата мира, было напечатано: «Выступают атлеты 38 стран и Юрий Власов». Правда, тогда, в Вену, они приехали из 33 стран.

Теперь я «экс» — это весьма изменило поведение многих. Я научился спокойно к этому относиться, но зачем лишний раз вызывать самодовольство чужой силы.

Диктор пригласил на сцену призеров. За призерами вышли мы.

Диктор перечислил участников торжественной церемонии.

Я не ожидал — зал ответил ревом на мое имя. Я напрягся, дабы скрыть волнение. У меня задрожали руки, потом я весь

задрожал. Черный, вздыбленный зал в движении и этот могучий глас: «А-а-а!..» Будто я впервые увидел со сцены зал и услышал крики, обращенные ко мне. Нет, сейчас все было иначе. Все было ярче, значительнее. Я вернулся в зал! Я вернулся в эту жизнь! Я освободился от всего, что загораживает жизнь.

«Но мне по-прежнему знакома радость. Радость, имеющая тысячу лиц...»

Зал не унимался. Мгновения, в которых годы, в которых прошлое и будущее...

Прошлое вдруг распахнулось передо мной.

Я услышал чудесный и чистый бой колоколов прошлого.

Я слепнул, погружаясь в прошлое.

Оживи «железо»!

Тренировка — дни и ночи слышишь только себя и тяжесть, ты в великой слитности с этой тяжестью.

Смысл тренировки, кроме развития силы, то есть качества и количества мышечной ткани, — это настройка себя в единый лад с тяжестью, которую надо поднять предельно точно; именно тогда она весит меньше всего и как бы входит в твой физический строй, ты врастаешь в нее, она становится живой!..

Время чистой и благородной силы.

Нет, я атлет! До последнего часа жизни — атлет. Я принадлежу этим людям. Людям, нарекшим испытания своей судьбой, борьбу — своей жизнью...

Мой мир! Мой!..

79

Судить по этой книге — я идеален, пусть речь даже о спорте. Конечно же, это не так. Как говорили средневековые схоласты, дьявол и ангел держатся за одну и ту же книгу.

Я делал сколько угодно и ложных шагов, и опрометчивых, и строил отношения нередко с предвзятостью. Но совершенно точно одно: в главном я был неизменным. И это главное — бескомпромиссное движение к цели, такой, как я ее представлял. И в этом движении я ни во что не ставил себя. Здесь я действовал без колебаний.

Воспоминания...

Воспоминания невозможны без личного. Следовательно, они всегда с достоинствами и слабостями личного. В какой бы среде человек ни действовал, какими бы общественными идеями ни руководствовался, это личное неистребимо.

«...Мы знаем, — писал Жан Жорес в «Истории Великой французской революции», — что экономические условия, форма производства и собственности составляют самую основу истории. Как и в жизни большинства людей, на первом плане стоит профессия, то есть экономическая форма индивидуальной деятельности, которою чаще всего определяются привычки, мысли, страдания, наслаждения и даже мечты людей, так в каждый период истории экономическая структура общества определяет политические формы... и... общее направление мышления... Однако не следует забывать, что, как это никогда не упускал из виду сам Маркс, которого слишком часто унижают истолкователи... людские страсти и идеи изумительно разнообразны, и почти бесконечная сложность человеческой жизни не поддается грубоватому механическому подведению под экономическую формулу. Хотя содер-

жание жизни человека определяется прежде всего человечеством, хотя человек более всего испытывает на себе разностороннее и непрерывное влияние общественной среды, однако он живет, чувствами и духовно, в более обширной среде... Итак, Маркс предвидит период полной интеллектуальной свободы, когда человеческое мышление, не искажаемое экономическим рабством, перестанет искажать мир...»

Вздорны упреки авторам воспоминаний в личном отношении к событиям. Лишь через человека и возможны история и общественное. Нет истории очищенных чувств и мыслей. Есть страсти, если угодно, предвзятости — это ведь почти одно и то же.

Люди, человек выступают не как запрограммированные машины, некие символы от чувств и долженствующих слов, а живыми отражениями своего времени. Несуразна критика с обзором воспоминаний, указующая некую усредненно-шаблонную линию поведения, выражений чувств и мыслей. Ведь это — отказ от правды, прямой отказ от себя, растворение своего «я» в нечто безликое. Коллектив — условие существования и развития человечества. Однако, что он без воли каждого? Что эта общность без яркости и талантливости каждого? Всякий отказ от себя, в конечном итоге, предполагает отказ от ответственности за справедливость в жизни. Без выработки оценки личной невозможна оценка общая. Они взаимодействуют, устанавливают друг друга.

У каждого — долг перед обществом. Долг в отстаивании идей (во всем своеобразии их приложения к жизни). И сила воспоминаний — в искренности. Только тогда это документ времени и истории.

В искренности и правде.

А «правда и состоит в том, чтобы говорить то, что думаешь, даже если заблуждаешься...»

Алексей ИВАНОВ

Допустим, вы попали в аварию...

ПОВЕСТЬ

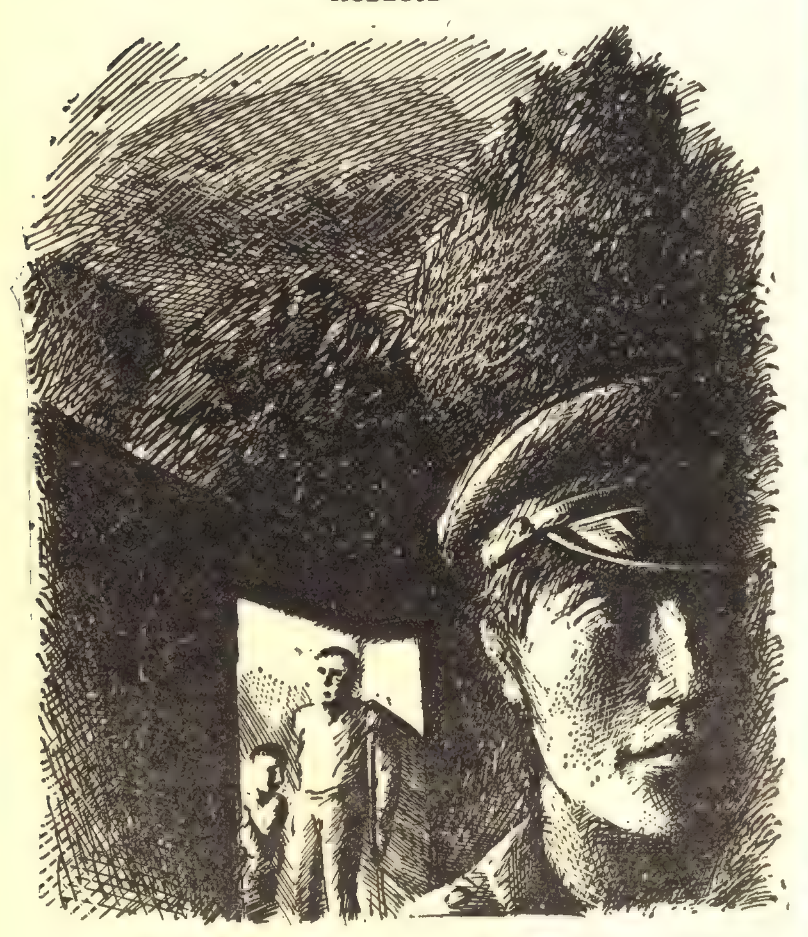


Рисунок Василия Бертельса

Старичок из городской конторы «Госстраха» быстро понял Митрофанова:

— Вы не автомобилист, случаем? Жаль, быстрее поняли бы механику!

— Мне тоже жаль.

— Чего?

— Что я не автомобилист!

— Ах, вы в этом смысле, понятно! Я говорил в другом — тут надо хорошо знать машину...

— У меня права уже десять лет, еще в армии получил.

— Это, дорогой мой, совсем другое дело — своя машина и государственная. Я бы сказал, это другое знание. Другой опыт. Но я вам постараюсь популярно объяснить. Вот, допустим, вы попадаете в аварию. Дорожно-транспортное происшествие на официальном языке. Допустим, вы столкнулись с таким же частником, как вы, и при этом никто в аварии не пострадал. Мы берем один из элементарнейших случаев. А вариантов дорожных происшествий, сами понимаете, бесчисленное множество. Итак, вы стоите друг против друга и в пылу, в азарте обвиняете один другого во всех смертных грехах. Допустим, вы правы. Нарушил правила движения ваш визави. Но вам-то каково? Ваш красавец или красавица — в зависимости от марки — представляют самое жалкое зрелище. Кроме того, если это у вас первая машина и первая авария, вам вообще кажется, что восстановить машину уже невозможно. Приезжает инспектор ГАИ, составляется акт, все идет своим чередом и вскоре вы оказываетесь лицом к лицу с представителем нашей мощной фирмы. Не буду говорить, что подавляющее большинство наших работников абсолютно честны, хорошо? Вас ведь, по роду службы, интересуют не они. Итак, вы встречаетесь с подобным человеком, он изучает вашу машину, заглядывает довольно-таки небрежно, как вам кажется, туда-сюда, поднимет капот, похлопает дверцей, кое-где пристукнет — где рукой, где ногой — и назовет вам сумму. Наивному и неопытному автомобилисту она может показаться невероятно малой. А допустим, что вы столкнулись, ударились, с человеком опытным. И он встречается с представителем «Госстраха». Но он опытен, да и машина у него на ладан дышала. Но столкновение есть столкновение. И он тоже пострадал. Так вот, пообщавшись с нашим агентом наедине, он может извлечь из «Госстраха» сумму значительно большую, чем вы. Каким образом? Кто может сказать — лонжероны в его машине погнулись от удара во время аварии или уже были таковыми к ее моменту? А цена разная. Крылья были уже старенькие, ржавые и в дырках или они помялись и продрались от удара?

Окончание. Начало — см. «Аврору» № 11 — 1988

Рулевая колонка была разболтана или даже разбита — до или после? Боковые стойки «пошли» от удара или оттого, что вы много лет возили на дачу на багажнике тяжелые предметы? А это опять-таки другая цена. Совсем другая. А крыша машины «играет» или нет? Вам кажется — нет, а представитель «Госстраха» говорит — да, «играет». И это тоже стоит денег. Два бесчестных человека, встретившись возле разбитой машины, найдут о чем договориться, можете мне поверить. Ибо, считает один бесчестный, лучше дать другому некую сумму, чтобы получить с государства в два-три раза больше, верно? А второй бесчестный думает, пусть лучше я получу некую сумму, а государство заплатит этому проходимцу. Государство не обеднеет! Вы меня понимаете?

Митрофанов явился в свой кабинет с целым блокнотом записей и головой, забитой автомобильной терминологией. Надо было выбрать из множества записей главное, систематизировать и самое важное записать в двух-трех фразах. Иначе можно утонуть в деталях. Работа это была непростая, но Митрофанов ее любил, она требовала напряжения ума, даже некоторой фантазии, словом, это было интересно. И уже совсем поздно, собираясь уходить, он заметил на календаре запись, сделанную рукой Васи Субботина: «Просил позвонить Тараев из Тарховки!» Звонить было поздно, Митрофанов выключил лампу — и темнее не стало. Только свет из желтого стал перламутровым, серебристым. Белые ночи! Он вышел на улицу и ощутил сильный, пряный запах цветущей черемухи. Он шел дворами, надеясь успеть на метро, и черемуха сопровождала его, свешивая тяжелые, чуть влажные гроздья через высокий школьный забор.

* * *

В темноте кухни Митрофанов наткнулся на кастрюльку, крышка слетела с нее и с грохотом покатилась по кухне.

— Можешь зажечь свет, я все равно не сплю! — сказала из соседней комнаты Анна. — А кастрюльку не трогай, это не наша, а хозяйская.

— Понял! — шепотом ответил Митрофанов, проклиная кастрюльку. Есть хотелось смертельно.

— Есть будешь? — спросила Анна. В приоткрытую дверь было видно, как она надевала халат, посматривая в сторону веранды — там спали дети.

— Пожалуй, на ночь не стоит! — Митрофанов все еще держал за ногу курицу, плавающую в кастрюльке, с ужасом замечая, что нога медленно отделяется от желтоватого куриного тела.

— Хорош! — ядовито сказала Анна, сердито посматривая припухшими со сна глазами. — Жаль, что я не мастер

жанровой живописи. Получилась бы картинка не менее поучительная, чем «Опять двойка».

— Куда ее деть? — Митрофанов вытащил злополучную лапу. — Туда или...

— Ладно, — Анна засмеялась. — Придется завтра объясняться. А тебе — привозить курицу.

— Это не проблема! — Митрофанов единым махом обглодал ногу. — Страшно проголодался, пока шел от станции. Свежий воздух великое дело, правда?

— Правда! — Анна поставила на плиту сковородку и не успел Митрофанов решить, не съесть ли и вторую ногу — семь бед, один ответ,—как поплыл сладковатый запах жареной колбасы. — Только интересно узнать, откуда тебе это известно? Сидишь в своей милиции в прокуренной комнате...

Колбаса скворчала и щелкала, выстреливая жиром, яичница, прикрывавшая колбасу, чуть подрагивала и поблескивала в свете неяркой лампы, прилепившейся под потолком, рядом сидела жена, теплая, сонная и недовольная, что ее подняли среди ночи, а в приоткрытое окно откуда-то издалека проникал прохладный запах черемухи.

— Знаешь, — сказал Митрофанов шепотом, — хотел было пойти домой, а потом представил, что вы все здесь, а я там один — глупость какая-то получается, верно? Если можно быть всем вместе?

— Не подлизывайся! — Анна сняла с плиты чай. — Мы тебя сегодня даже встречать ходили, а ты этого не чувствовал. А потом шли обратно и оставляли тебе разные знаки, чтобы, когда ты приедешь, ты не заблудился и побыстрее пришел домой. Ты видел наши знаки?

— Конечно! — Митрофанов обнял жену. — Все до одного!

— Ну и какие же это знаки?

— Очень простые. Белая ночь, запах черемухи, шум залива и пятьсот голландских тюльпанов в теплице у соседа!

— Вовсе нет! Ты перепутал наши знаки с чьими-то! Мы тебе просто рисовали стрелки! — она присела на стул и стала смотреть, как ест Митрофанов. — Не ел с утра?

— Да, почти! — отозвался он. — Сначала не хотелось— жара, а потом спохватился — все закрыто.

— Ты доволен? — негромко спросила Анна.

— Чем?

— Тем, что ушел работать в милицию? Или вспоминаэшь завод?

— Это странно, но почти не вспоминаю. Некогда!

— Меня все спрашивают, неужели твой Митрофанов в милицию работать пошел? А что там, больше платят? Прямо прохода не дают!

— И что ты отвечаешь?

— Говорю, что больше платят. Это сразу успокаивает, — она налила чаю в его громадную фарфоровую кружку. — А сам-то ты можешь сказать почему?

— Могу, конечно! — засмеялся Митрофанов. — Больше платят! — потом посмотрел на Анну и умолк. — Конечно, могу, — повторил он. — Знаешь, я как-то иду у нас во дворе, и меня обгоняют на велосипедах пять или больше даже мальчишек и девчонок. Веселые такие, в спортивных костюмчиках, кричат что-то, брызги из-под колес летят, ребятишки красивые такие — прелесть! Все прокатились по луже — и дальше жмут. А я следом иду. И вижу на дорожке, на асфальте, мертвый голубь лежит. Раздавленный колесами. И все следы, до одного — через этого голубя! То есть он для них не мертвый, а просто-напросто дохлый! Мне так вдруг жаль их стало... Как будто они убогие, как будто они на костылях — знаешь, такая острая жалость бывает, когда ребенка больного видишь...

— Трудно работать? — спросила Анна.

— Ага, — Митрофанов смотрел на нее поверх края чашки.

— Труднее, чем на заводе?

— Знаешь, что самое трудное в милиции? — Митрофанов многозначительно посмотрел на Анну.

— Что?

— Сидеть некурящему человеку в прокуренной комнате! — засмеялся Митрофанов. — Ну, спим или пройдемся по заливу?

— А ты не устал?

— Я вижу, тебе просто лень одеваться. Слышишь, как соловьи заливаются? Пойдем!

* * *

Тараев появился на шоссе сразу же, будто поджидал Митрофанова. Он подкатил на деловито пофыркивающем сине-желтом мотоцикле.

— Ну и работка у тебя, лейтенант, — улыбнулся он, протягивая руку.—Вроде моей. Никогда на месте нет! Еще интересует тебя мотоциклист?

— Конечно! Сейчас самый момент!

— Мотоциклист твой с «жигуленком» встретились. Отсюда неподалеку, «жигуль» его достал, посигналил, они остановились и о чем-то говорили. Потом «жигуль» дальше покатил, мотоцикл за ним. Но на дистанции. Поехали в Рощино. Там у хозяина «жигуля» дача. Через некоторое время и мотоциклист туда приехал. Я место встречи засек, потом подъехал посмотреть — нет ли знака условного, мало ли что... — Лейтенант развернул мотоцикл, но перед тем как дать газ вспомнил: — Есть мелочь одна во всем этом,

мне непонятная. Почему-то они поехали в Рощино не по бетонке — и дорога хорошая и покороче малость, а по грунтовой дороге. Есть такая дорожка, идет через поселок Сосновая Поляна, мимо санатория детского, Линдуловской рощи, садоводства ЛОМО — и к станции Рощино. Вот зачем они так ехали — не пойму.

— Да уж, наверное, не Линдуловской рощей любоваться, — задумчиво сказал Митрофанов.

— Вот и я думаю! — в тон ему отозвался лейтенант.

* * *

Загорать уже давно не хотелось, вылезли на крышу просто так — некуда было деваться.

— Что-то Цифирька за нами все время ходит, будто что чувствует, — сказал Славчик, растягиваясь на одеяле.

— Наверное, чувствует, — нехотя подтвердил Толька.— Говорят, женщины наделены особым чутьем, которого у мужчин нет.

— Да? — удивился Славчик. — А зачем им?

— Не знаю, — Толька грохнулся на одеяло так, что крыша загудела. — Может быть, в интересах продолжения рода.

— А-а, — сказал Славчик и замолчал. Вопросы продолжения рода пока что не сильно его занимали. — Лучше было бы в это дело не лезть! — сказал он после паузы.

Бредихин промолчал. Он лежал, прижавшись щекой к старенькому одеялу, и смотрел, как бежит, стекает вниз белый песок.

— Ты чего молчишь? — поинтересовался Славчик.

— А что говорить-то?

— Я, например, хочу тебе сказать, что я боюсь, — твердо проговорил Славчик. — Жутко боюсь.

— А я, думаешь, нет? — равнодушно отозвался Толька. — Я, может, еще больше, чем ты, боюсь!

— Тогда надо сваливать...

— Может быть...

Они снова замолчали, но Толька лежал молча, словно его и не было, а Славчик глубоко вздыхал, ворочался с боку на бок и по-стариковски кряхтел.

— Если мы свалим, он нас сразу заложит, — сказал наконец, Славчик. — Ты же знаешь Профессора. Он мне вчера знаешь что слепил? Будто к нему приходил сам Ведерников.

— Кто это?

— Старший оперуполномоченный уголовного розыска. Они уже знают, что плитки увели со стройки, и сторож-татарин сказал Ведерникову, что их забирали двое парней.

Белый песок медленно тек вдоль горячего ребра крыши, вспыхивая изредка дальними-дальними прожекторами.

— А еще сказал, будто... — Славчик прислушался. — Идет кто-то! Цифирька, наверное, — и поморщился. — Ну липнет, поговорить не даст!

— Ладно, не твое дело! — Толька резко повернулся, и Славчик на всякий случай отпрянул в сторону.

— Ребята,—послышался голос Цифирьки,—вы здесь?— Она вылезла на крышу и присела рядом с мальчишками на корточки, жмурясь от солнца. — Как хорошо здесь! — и повернулась к Славчику. — Подвинься!

Тот не успел даже рта открыть от изумления, как Цифирька стащила с себя через голову платье и осталась в цветастом купальнике. По голубому фону змеями ползли белые хризантемы. Цифирька небрежно толкнула Славчика прохладным, чуть загорелым плечом и улеглась на одеяле, подложив под голову сцепленные руки. Славчик отодвинулся в сторону и, хотя голая крыша изрядно припекала, смотрел на Цифирьку со стороны. По сравнению с мускулистым, загорелым дочерна Бредихиным она была совсем белая. И под мышкой, что особенно поразило Славчика, видны были курчавые волосы. Славчик почувствовал вдруг, как во рту пересохло, а по спине пробежали мурашки. Будто кто-то щекотал спину травинкой.

— Ну, — нерешительно сказал Славчик, понимая что разговор с Бредом не получится, — так я пойду?

— Иди, иди, Славчик, — спокойно, не поднимая головы, словно она тут хозяйка, сказала Цифирька.

Славчик подхватил джинсы и ковбойку и, почему-то стараясь не шуметь, пошел к чердачному окну. Возле окна он оглянулся: Цифирька и Толька лежали рядом, не двигаясь, их головы были повернуты друг к другу, и, как показалось Славчику, белая Цифирькина рука лежала на загорелом Толькином плече.

* * *

Промелькнул пост ГАИ, и «жигуленок» Тараева свернул влево.

— Вон туда, направо, бетонка идет. И прямиком до Рощина. А здесь грунтовочка. Тихая, машин немного. Но подразбита. Удовольствия от езды не получишь. Значит, какое-то дело?

— Что здесь делать можно? — задумался Митрофанов. — Спрятать что-то? С кем-то встретиться?

— Да спрятать-то в этом лесу — не очень! Не тайга! — подключился и Тараев. — Вон сколько людей ходит.

Мимо мелькнули крутые откосы старого песчаного карьера. На дне его, сцепившись вершинами, лежали две

сосны. На другом конце выработки шумел маленький экскаватор. Поблескивая на солнце сверкающим, словно серебряным ковшом, он подбирался уже к границе леса.

Машина бойко бежала по грунтовке. Тараев сидел, распахнув пиджак и с любопытством поглядывая по сторонам. Митрофанов впервые видел его не в крагах и коже, и он оказался совсем молодым парнем. Дорога была изрядно разбита, но Тараев словно не замечал этого, «жигуленок» бежал ровно, без рывков и торможений.

— Так ты говоришь, — покосился он на Митрофанова, — Профессор-то наш — агент «Госстраха»? Это многое проясняет.

Они проехали мимо детского санатория, спустились с горы, мелькнула неширокая речка, прячущаяся в кустах.

— Выкупаться бы, — вздохнул Тараев. — Прямо хоть вылезай!

Они резко свернули влево и понеслись по асфальту.

— Заедем с другой улицы, — сказал Тараев, — а то с фасада у него ничего не рассмотришь. Дача, как дача! — Они свернули с шоссе и круто поднялись в гору.

— Роскошно видно, бинокля не надо! — сказал Тараев. — Только не высовывайся особенно. Уж больно отсюда обзор хорош! Он, видишь, кустики-то посадил, да они не выросли еще. Смотри!

На заднем конце участка Гулевого, выходившем к лесочку, был построен основательный гараж. Там стояли две машины. Возле гаража приткнулись еще две: разбитый вдребезги «Запорожец» и второй — после окраски, на подставках, без колес и никелированных частей.

— Видел? — возбужденно показал Тараев. — У него тут целая ремзона! Вон домкраты гидравлические. Специальные, на станциях техобслуживания применяются. А вон короб! Это они отжигают после покраски. Фирма! — Тараев говорил не без восхищения.

Но Митрофанова привлекло другое. По двору метался, собирая инструменты, Халява, а в глубину гаража прошагал, прихрамывая, мужчина в берете и комбинезоне. Походка его показалась Митрофанову знакомой. Неужели отец Славчика? Мужчина тащил сварочный агрегат.

— Это ж надо, такую фирму организовать! Все ясно с ним. Он ведь, гад, берет человека после аварии, тепленького, когда у того еще в глазах темно, сразу оценивает работу — вдвое, скажем, дороже, чем на станции обслуживания, да? А потом утаскивает к себе и ремонтирует. И клиенты всегда есть, и цену какую хочешь называй, человек не в себе после аварии. Я уж не говорю о родственниках, если кто-то погиб. Тогда вообще могут отдать машину хоть даром. А он подремонтировал — и вася! Весь навар в один карман.

— Там еще двое работают!

— Это так, мелочь. — Тараев поблескивал глазами от возбуждения. — Ты паренька-то признал, мотоциклиста? Я — сразу!

— А зачем они все-таки ехали по дальней дороге? — перебил его Митрофанов. — Не вижу причин.

— Да и я тоже, — задумался Тараев. — Ладно, само придет! — весело сказал он. — Когда рапорт писать будешь, не забудь помянуть славное имя лейтенанта Тараева! — он подмигнул Митрофанову. — А знаешь, почему они ехали другой дорогой? Я понял. На машине, что в гараже была, выборгский номер. Наверное, просто клиента встречали.

* * *

Дело шло к концу, причем концу благополучному, но Петр Григорьевич Гулевой неожиданно начал нервничать. Даже безобидный, но неожиданный визит пожарников довел его почти до истерики. Перед началом дела он боялся неожиданностей. Сутки он сидел дома, сказавшись больным, выглядывал время от времени на улицу из-за тяжелых портьер и снова принимался за коньяк. Коньяк был французский, и для питья стаканами не годился вовсе.

— Мамочка, — постучал он в дверь жены. — У нас водки нет, родная?

— Возьми в серванте «Смирновскую»! — отозвалась Алла Никитична.

— Я не могу эту сладкую дрянь пить! — зарычал Петр Григорьевич. — Спирту бы сейчас тяпнул.

— Ты что-то, я вижу, распсиховался? — спросила Алла Никитична, выходя из комнаты. — С чего бы это? Стареем, папа?

— При чем тут «стареем»? — обиделся Петр Григорьевич.

— Вот, психуешь, милый, это одно, а потом я у тебя в машине журнальчики нашла. Такими журнальчиками, дорогой, или мальчишки балуются, или старички. Но, насколько я знаю, ты уже не мальчик...

— Это случай, — отмахнулся Петр Григорьевич. — Один клиент попросил достать. Неужели ты думаешь, что мне это интересно?

— Не знаю, — задумчиво проговорила Алла Никитична. — Я только вижу, что ты своей разнообразной деятельности не оставил, папа? Все мелочевкой занимаешься? Я же просила тебя на время оставить всю твою чепуху! На пустяке ведь завалишься, болван! — повысила она голос.— Сколько тебе повторять одно и то же!

— Я прошу тебя со мной в таком тоне не разговаривать! — попытался сопротивляться Петр Григорьевич. — В

конце концов, деньги мы с тобой не делим, деньги у каждого свои, каждый имеет право зарабатывать так, как может.

— Но не сейчас, папа! — Алла Никитична подошла поближе к мужу и заглянула ему в глаза. — Не сейчас, родной мой!

От ее взгляда Петру Григорьевичу стало холодно и он, ерзая, отодвинулся подальше в кресло.

— Что ты там в гараже затеял? Зачем мальчишек притащил?

— А как бы я их замазал, дура? — взорвался Петр Григорьевич. — Как? Их надо было ввязать, чтобы они сами на дело просились! И я это сделал! — Петр Григорьевич гордился четко продуманной операцией и никому не мог позволить чернить ее. — Где ты сейчас найдешь приличного уголовника? Не те времена! Да уголовник, если бы я его и нашел, нам не нужен. Он все равно на крючке у Ведерникова! А мне нужен...

— При чем тут Ведерников?

— Просто так, к слову!

— К слову! Накличешь сдуру!

— Ладно, мамочка!— Гулевой выпил еще коньяку и зажевал лимоном.— Я ведь в твои дела на базе не лезу, верно? И ты в мои...

— Ха-ха,— Алла Никитична тоже плеснула себе коньяку.— С твоими мозгами, папочка, ты на базе и полдня не продержался бы!

— Так я туда и не лезу! Я психолог, понимаешь? Пси-хо-лог! Мне нечего делать на твоей базе, но если бы я захотел, я вас там всех с потрохами купил бы и продал, а вы бы мне еще благодарны были и ручки целовали. У меня другая профессия. Я не вор, я пси-хо-лог!

— Значит, я — ворюга?— спокойно поинтересовалась Алла Никитична.

— Я не о тебе, мама, ты ж понимаешь!— Он налил коньяк.— Я хочу выпить за тебя, мама. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал. Во всяком случае, мне было бы гораздо хуже! Твое здоровье! — Он выпил, поморщился и продолжил: — Так что я говорил об уголовниках? Они мне не нужны. Они на крючке. А у меня такие ребятишки, что комар носу не подточит! Дело сделано — и тишина! У них даже ни одного привода нет, мамочка. Это благополучные дети!— Он засмеялся.— Абсолютно благополучные. Один чуть ли не отличник. И замазать их было непросто! А сейчас они,— он сделал движение пальцем, будто подцепляя крючком что-то,— у меня вот здесь!

— А как с сигнализацией? Все будет в порядке?

— Что ты! Этот алкаш землю роет. Я ж его устроил туда на работу. И взял к себе. Он сутки спит в храме божьем, а потом у меня слесарит. И счастлив!

— Не болтанет?

— Нормалек, мама! Я ему на следующий день, а может, и в тот даже, еще не решил, дам деньги якобы за работу у меня на даче. И он готов.

— Уверен?

— Он же алкаш. Такую сумму увидит — не сдержится. Сразу уйдет в подзалет. Пока будет пить, ему не до этого будет. А потом за пьянкой все и вылетит из головы. Да и кто слушать будет — мало ли что алкаш несет!

— Деньги надо на следующий день дать. Сначала убедись, что сигнализация отключена.

— Подработаю этот вопрос, мамочка.— Гулевой засмеялся.— Тут есть одна деталь, которая мне нравится, мама.

— Да?— подняла брови Алла Никитична.

— Один из мальчишек, что туда полезут,— его сын! Но он этого не знает!— смеялся Петр Григорьевич.— Можно сказать, однодельцы, и не знают об этом. Пикантно, а? А этот твой...— Гулевой увидел, как она приложила палец к губам.— Этот-то твой, он не подведет?

— Ты что, не знаешь их, что ли? Дело есть дело. Оно прежде всего! Это тебе не «Пурукуми ие?», не фарца какая-нибудь!— Она поднялась и устало пошла в свою комнату.— Мне надо тут еще кой-какие бумаги подготовить, у нас скоро ревизия, хочу, чтобы все чистенько было. Ты заказал железнодорожные билеты? Если сунутся — узнают, что мы за два дня до всех этих дел уже укатили, правда, папочка? — Она подмигнула, напомнив Петру Григорьевичу девчонку из овощного магазина, которой была не так уж и давно. Да, меняются люди! Кто бы мог подумать! А сейчас уже командует целой базой и им самим, и он признает ее первенство. Вот что значит вовремя помочь способному человеку. По сути дела, вся акция — ее работа. Кроме, разумеется, исполнения. Тут он — король!

— Да,— остановилась она в дверях.— Надо, чтобы пацан твой, который выйдет на связь, перестал разъезжать на своем мотоцикле. Очень у него приметный вид. Ничего, раз-другой и на поезде прокатится.

— А там как же? Там до точки свидания далековато. Разве на автобусе? Надо будет ему сказать...

— Это для тебя далековато, папочка. А для юнца — раз плюнуть!— Петр Григорьевич уловил в голосе знакомые жесткие интонации и тут же согласился. В конце концов, Алла абсолютно права! И для пацана пройтись, прогуляться, можно сказать, одно удовольствие. Привык разъезжать на своей «Яве», скоро в сортир будет на мотоцикле ездить! А на чьи деньги куплена «Ява»? На мои. Не столкнулся бы со мной на автобарахолке, так бы всю жизнь и пробавлялся ворованными запчастями. Пока не посадили бы. А так — в люди, можно сказать, выходит. При деньгах.

А деньги всегда в люди выведут. В этом Петр Григорьевич никогда не сомневался. Богатому и черт люльку колышет!

* * *

Славчик бросился навстречу Тольке, спускавшемуся со ступенек крыльца отделения милиции.

— Ну что?

— Все выяснил. На втором этаже доска Почета, и на ней товарищ Ведерников А. А., оперуполномоченный уголовного розыска.

— Значит правда все, Профессор не брехал?

— Выходит. Хотя я все равно не верю, что этот Ведерников у него деньги брал. Станет он связываться с такими, как Профессор.

— Да я тоже чую, что он нас парит! А как докажешь?— Славчик замер, схватив Бредихина за руку.— Слушай, Бред, давай свалим, а? Ну что он нам сделает? Уж лучше к этому Ведерникову пойти...

— Как ты свалишь? Мы же обещали...

— Ну и что? — не унимался Славчик. — Он нам сколько всего обещал и не делал?! А мы что?

— Мы же — не он, — вздохнул Толька. — Ладно, раз уж начали, чего там. Надо до конца идти...

* * *

Петр Григорьевич поленился заехать в гараж, где был бензин, и заправиться, но едва он выехал из Ленинграда, стрелка оказалась на нуле. Петр Григорьевич вылез, качнул машину и опытным ухом услышал легкое бульканье. Дотянем до Сестрорецка, решил он, и не ошибся. Правда, заправка эта была только для государственных автомобилей, но над этим Петр Григорьевич никогда не задумывался. Он верил в свое обаяние. Ну, и конечно, в деньги. Так и произошло. Заправщица чуть поупрямилась, но десять литров дала. Петр Григорьевич вернулся было к машине — и замер. Прямо возле салатного Аллиного «жигуленка» остановился мотоцикл ГАИ. Невысокий лейтенант соскочил с седла, и Петр Григорьевич увидел, как замахала заправщица — уезжай, мол, по-скорому! Проваливай! Но проваливать было уже поздно. Петр Григорьевич приосанился и пошел навстречу лейтенанту. Тот был молоденький, чернявый, быстроглазый — и все это вместе не настраивало на положительный исход. Но, как говорится, выбирать не приходится. Петр Григорьевич устало, чуть поотечески улыбнулся и протянул лейтенанту руку. Это был старый его прием. Ошеломить, представиться по полной

форме: «Член-корреспондент, заслуженный деятель, депутат...» — мальчишка растеряется от неожиданности. Но он вовремя вспомнил, что по билетам, которые им уже принесли (для «отмазки», из Аллиного жаргона), они с Аллой уже сутки как едут в сторону самого синего моря. Рукопожатие и представление по полной форме отпало само собой. Но Петр Григорьевич улыбнулся еще шире и полез в карман пиджака за водительским удостоверением. И тут его по-настоящему прошиб холодный пот. Он с ужасом и отвращением смотрел на салатный «жигуленок», проклиная мысленно Аллу, эту идиотку, которая не могла даже сама заправить машину вовремя, и себя — он забыл, забыл, ну просто вымело из головы, что у него нет доверенности на ее машину. «Это, пожалуй, начало конца», — подумал Петр Григорьевич, улыбаясь отеческой улыбкой и приближаясь к лейтенанту. Тот в ответ не улыбнулся.

— Ваша машина? — лейтенант козырнул и представился.

— М-да, — не очень ясно ответил Гулевой, держа в руках водительское удостоверение, но не давая его лейтенанту и улыбаясь.

— Прошу не судить меня строго. — Гулевой считал, что инспектора надо огорошить витиеватостью речи. Пусть поймет, что не с какой-нибудь шушерой имеет дело. — Прошу не судить меня строго, — Петр Григорьевич широко развел руками. — Пришлось подъехать сюда. Знаю, знаю, как старый автомобилист, что заправка государственная, но подъехал. Грешен, и как говорится, готов подвергнуться наказанию. Забыл, понимаете, заправиться с утра, а бензин на нуле. Побоялся остановиться на дороге. Тоже, знаете, с ведром старому человеку как-то неловко стоять. Вы меня понимаете? — Он наклонился к машине и повернул ключ зажигания. Стрелка действительно стояла на нуле. — Мне и нужно-то пять литров, не больше. Просто дотянуть до дачи. Там заправлюсь.

— А где у вас дача? — неожиданно спросил лейтенант, и Гулевой понял, что все проскочило-проехало. Заговорил по-человечески, значит все в порядке. Можно быть спокойным.

— В Комарове. Знаете академический поселок? — соврал он и по привычке, и для солидности, и для маскировки. Это был тот редкий случай, когда можно было «надуваться», чувствуя, что ты это делаешь не просто, чтобы пустить пыль в глаза и «забить баки», а с высокой целью, и Гулевой делал это с сознанием хорошо выполняемого долга. — Моя дача рядом с дачей академика Крачковского! — произнес он первую попавшуюся академическую фамилию.

— Он же умер! — поразил лейтенант Гулевого еще раз.

— Он умер, — Петр Григорьевич чуть пригорюнился, как бы отдавая дань печали по поводу кончины академика, — но дети, дети живы. И дача жива! — позволил он себе

пошутить. — К сожалению, вещи очень часто нас переживают. — Он посуровел лицом, как бы осваивая эту новую, только что пришедшую в голову мысль. — Чаще, чем нам хотелось бы!

— Да, — суховато поддержал его лейтенант. — У вас, кажется, ручничок ослаб? — он заглянул в машину, поддернул ручник и плечом толкнул машину вперед. — Нет, почти в порядке.

«Остроглазый», — подумал Гулевой. Ручник, и верно, был слабоват.

— Будете на станции, — сказал лейтенант, — не забудьте, чтобы проверили ручник. Это секундное дело. Там надо гаечку одну законтренную подтянуть — и порядок! — Он, видимо, гордился своим знанием машины и решил прихвастнуть перед важным клиентом. Не ударить в грязь. — А с бензином это мы уладим! — улыбнулся он наконец. — Вам до Комарова вообще литруху надо, что ж на заправке литра бензина не будет? — улыбнулся он простецки.

«Ах ты душка, — подумал Петр Григорьевич, — как бы ты с меня за свое гостеприимство пятерочку не слупил!» Отдавать деньги Петр Григорьевич не любил, делал это лишь в крайних случаях и долгое время чувствовал себя после этого неважно. И иногда даже заболевал всерьез. И что самое интересное, болезнь могла начаться вовсе не из-за какой-нибудь крупной суммы, а из-за любого пустяка, но потерянного, отданного тогда, когда можно было этого не делать.

— Зинаида Иванна, — крикнул лейтенант. — Литр-другой можем дать товарищу? А то в бачке дно видать и до Комарова ехать надо! — И когда, произнеся слова благодарности, Петр Григорьевич побежал объясняться с заправщицей, Тараев еще раз заглянул в машину. Да, рассматривая ручник, он не ошибся. На заднем сидении стоял целый ящик финских яиц, укрытый пледом. Причем в ящике были именно яйца. Он даже не разреза́лся, не открывался сверху. Да и сбоку, в вентиляционные дырки, видны были твердые ячеи яичной упаковки. «Странно, — подумал Тараев, глядя как Петр Григорьевич торопливо семенит к машине, — зачем ему столько яиц?»

— Очень вам благодарен, искренне благодарен! — Петр Григорьевич пожал твердую, жесткую ладонь лейтенанта. Ладонь ему не понравилась. В пожатии все-таки можно прочитать характер. И этот характер был Гулевому не по душе. — Будьте здоровы! — Гулевой уселся в машину, махнул еще раз рукой и, чувствуя, как мокрая от пота рубашка прилипла к спине, отъехал от заправки, все еще не веря, что на этот раз пронесло. Он посмотрел в зеркальце, лейтенант подошел к заправщице полюбезничать и, видимо, уже забыл о нем. «Вот зачем он приехал! — Гулевой развернул машину и дал газ. — Он к этой девке прилетел, а

мне морочил голову с ручником просто так, по привычке, чтобы перед нею повыпендриваться! — Чем дальше он отъезжал от заправки, тем его все больше и больше охватывал гнев. — Ах, волки поганые! Не могут пройти мимо человека, чтобы замечания не сделать! И только так их может и должен провести за нос уважающий себя человек!»

* * *

Лейтенант Кокорин из райуправления на Васильевском острове благодушествовал. Он только вчера, наконец, сдал римское право и теперь мог расслабиться.

— Ты даже не знаешь, как ты мне помог! — Он покуривал, небрежно развалясь в кресле, так мог держаться лишь человек, сделавший большое дело. — Я приволок руководству тот списочек, что ты мне оставил, и меня без звука — на три дня для подготовки к экзаменам. А я потихоньку список проработал: большинство машин, угнанных — по городу, заметь! — из этого списка. Я, конечно, не беру машины, угнанные из хулиганских побуждений. И почерк — один. Теперь бы только отловить этого одного...

— Могу тебе его отдать! — небрежно сказал Митрофанов.

— Ну-ну, — не поверил Кокорин. — Только без этого, своим-то не надо.

— Пройдешь мимо счастья, лейтенант!

— Вас понял! — Кокорин оказался сообразительным пареньком. — А я что должен? Если ты мне этого ворюгу сдашь — я твой. Все, что от меня зависит, без промедлений.

— Имя его, может, тебе и незнакомо, но думаю, что где-то у вас выныривало уже. Не такой это человек, чтобы у вас не наследил.

— Ну, ты говори, говори!

— Но ты мне должен о нем всю информацию доложить. И быстро. Мне ведь тоже отчитаться надо. Прозвище у него Халява...

— Халява? — разочарованно сказал лейтенант.—Да его тут всякая собака знает! Фамилия его Шингарев. Зовут Валентин Иванович. А это верняк, что он? Его давненько не слышно было! Из училища выперли его... На автослесаря учился, да недоучился...

За окном была Нева. Прогулочный теплоходик разворачивался, оставляя длинный след. В дрожащем мареве был виден противоположный берег. Невысокие особнячки с колоннами и ажурными балкончиками. «Хорошо сидеть в таком кабинете, — подумал Митрофанов. — Не то, что у меня. Как говорит Вася, с видом на подвал!» И вспомнил, как вчера возле этого самого подвала натолкнулся на Ол-

суфьева. Старик, видно, ждал его давно — с десяток окурков аккуратно, по-флотски, были сложены рядом.

«Как дела, Сергей Николаич, виделись с учителем труда?»

«Да, он мужик неплохой, договоримся с ним. Загорелся парень идеей. Он уж в военкомат позвонил, ему список инвалидов обещали прислать. С завода ребята приходили, кстати, тебя поминали, твои знакомые, шефы, тоже идея понравилась. Будем, говорят, добиваться, чтобы комсомол шефство над этим взял. Так что тут я не беспокоюсь. Другое дело у меня, Владимир Николаич, — Олсуфьев подумал, покряхтел, как бы преодолевая внутреннее сопротивление. — Приходил тут ко мне мальчонок один, Славчик, услышал он про угоны машин, что нашими сигналами оборудованы, и пришел сказать, что он одному парню, не нашему, секрет открыл: как можно отключить сигнал. Большого-то секрета там нет, но знать надо. Паренек этот к Профессору ходил, у них там свои дела были. Ты про него как-то спрашивал еще, помнишь? Говорили еще, что он на Васильевском живет».

* * *

Валентин Иванович Шингарев, он же Халява, тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года рождения, между тем тянул на своей «Яве» в сторону Зеленогорска. Ехал он не спеша, торопиться было некуда. Правда, Профессор предупредил его, чтобы он ехал поездом, но Халява не считал себя таким уж идиотом — тащиться восемь километров пешком из-за прихоти Профессора. К заднему сидению он приторочил, как и было договорено с Профессором, маленькую саперную лопатку. Дело было нехитрое, хотя и непривычное. Надо было встретить на шоссе «финика» финский трайлер, который пойдет четвертым по счету. Махнуть ему лопатой, чтобы он свернул с шоссе на грунтовку, помочь «финику» вытащить ящик, забросить другой, который к этому времени доставит Профессор, а оставленный «фиником» — сунуть в профессорскую машину. Это была первая часть операции. О второй Профессор не говорил, намекал только, что она не сложнее первой. За все дело немедленно отваливалась «штука», тысчонка, и можно было, а по команде Профессора даже и нужно, в тот же день укатить на юг. Халява жмурился на солнце, представляя, как будет гужеваться на юге. Деньжата есть. Даже без сегодняшней «штуки». Конечно, с Профессором дело иметь хорошо. У него — фирма. Дело налажено. И денежки текут, хотя и вкалывать приходится, как дяде Тому. И научиться есть чему. А за учебу надо платить, как говорит Профессор. Уж в эту поездку на юг он такого маху не даст, как в прошлом году.

Он тогда только начал работать на Профессора и едва выучился перебивать номера на кузовах краденых машин. Штука нехитрая, но в их деле — необходимая. И все заключалось только в одном — в аккуратности, которой Халява не отличался. И Профессор доводил его до истерики, заставляя раз за разом переделывать работу. «Дурачок,— говорил Профессор, покуривая «Кэмел», других сигарет он не признавал, — это ж лицо нашей работы. Любой инспектор должен посмотреть на твою работу и убедиться, что номера стоят заводские. Более того, если он вдруг засомневается и посмотрит при резком боковом свете, как их учат в ихнем училище, — Профессор наклонял сильную лампу,—вот так, то он должен убедиться, что сомнения его были необоснованны. Если ты этого не научишься делать, тебе придется снова ехать на толчок и ждать, пока тебя заметут!»

Хорошо, что Профессор в скором времени уехал на юг. Иначе Халява не выдержал бы. Он уже был на пределе. Но за первые две недели их отсутствия Халява отоспался, отъелся на запасах из кладовки, дверь которой он аккуратно снимал с петель, не трогая тяжелого висячего замка, и начал уже было снова потихоньку тренироваться в перебивании номеров, как вдруг произошел случай, едва не перевернувший всю его жизнь.

Однажды, подъехав к заправке, он увидел нестарого еще мужчину, вылезшего из серой «Волги». Что-то остановило взгляд Халявы на нем.

Он не сразу понял — что. Было прохладно, время от времени принимался дождь, а мужчина выскочил в одной рубашечке. Халява продвинулся к «Волге», еще точно не зная, зачем это делает, и тут же увидел висящий на крючочке за спиною водителя пиджак. Из кармана торчал бумажник с документами. Халява небрежно посмотрел в сторону мужчины — тот оживленно обсуждал что-то с толстяком, стоявшим рядом с ним. И еще два человека были впереди. Пришлось сдержаться, пройтись туда-сюда, пока мужчина не нырнул головой в окошечко заправки. И через минуту Халява уже ехал по шоссе, ощущая в заднем кармане твердые корочки. Вынуть из кармана пиджака водительское удостоверение и техпаспорт на машину было делом одного мгновения.

Километров через двадцать Халява свернул в лес, дрожащими от возбуждения руками вытащил документы и внимательно рассмотрел их. Мужчина был на него непохож, но переклеить фотографию можно было в два счета. Он сунул документы за пазуху и притаился, поглядывая на дорогу. Через несколько минут показалась серая «Волга». Видно было, что мужчина торопился, шел на приличной скорости. Халява пропустил его и, выкатив мотоцикл на шоссе, дал газ. Новенькая «Ява» взвыла, чуть было не

встала на дыбы, так резко он крутанул дроссель, но удержалась, и через секунду деревья вдоль дороги слились в сплошную полосу, а ветер стегал по глазам так, что слезы текли сами собою. В то время у Халявы еще не было спортивного шлема с обтекателем.

Исчезнувшая «Волга» сначала замелькала далеко, потом стала возникать все ближе и ближе, изредка лишь скрываясь за поворотами, и в конце концов Халява «прицепился» к ней, стараясь держаться на приличном расстоянии. Теперь главное было узнать, заметил хозяин пропажу документов или нет. Если заметит, то первая остановка должна быть возле поста ГАИ при въезде в город. Халява даже подтянулся к нему поближе, рискуя быть замеченным. Но «Волга» пролетела мимо поста, лишь чуть-чуть сбросив скорость.

В городе не потерять «Волгу» стало труднее, зато появилась возможность приблизиться к ней, прячась за движущийся вместе с ними транспорт. Однажды Халява обнаглел настолько, что догнал «Волгу» и встал с нею колесо в колесо в левом ряду, посматривая на водителя. Тот включил приемник и сидел, спокойно посматривая вокруг и дожидаясь сигнала светофора. Видно было, как водитель посвистывает в такт музыке. «Ничего, — весело подумал Халява, — скоро ты у меня по-другому засвистишь!»

Водитель мотался по городу весь день, и Халява, проклиная его деловитость, ездил вслед за ним.

«И как я в паспорт не заглянул, — думал он, время от времени поджидая водителя «Волги» на улице, — знал бы сейчас адрес и приехал бы вечером не спеша!» Но тут же ему пришла в голову мысль, что тот мог держать машину и не возле дома. Следить за водителем Халяве нравилось. Он чувствовал себя то сыщиком, то шпионом. Но главное удовольствие было время от времени приближаться к машине и смотреть на хозяина. В этом было незнакомое и волнующее чувство превосходства над этим человеком, высоким, уверенным в себе, в красивом, сверкающем, как вылезший из воды морж, костюме. Он разъезжал, не зная еще, что через час-другой ахнет от ужаса и предчувствия потери, засуетится, начнет шарить по карманам — и вся самоуверенность, весь лоск соскочат с него. Особенно, когда он утром выглянет в окно и обнаружит, что машинка-то его тю-тю! — давно уже в дороге!

Халява несколько раз заходил в кафе, съедал пирожок-другой, если можно было устроиться так, чтобы не выпускать машину из поля зрения.

К вечеру водитель пригнал свою «Волгу» почти к дому Халявы — сосед! — веселился Халява, — хлопнул дверцей и, небрежно заперев машину на ключ, стал подниматься по лестнице. По тому, как он ставил машину, притирая ее к бровке тратуара, как взглянул вверх на окна, даже по по-

ходке его, неспешной и усталой, Халява понял, что он приехал домой. Это была удача. Еще полчаса поболтавшись в садике и посматривая на окна, по шагам в парадной он определил, что хозяин живет на третьем этаже, он понял, что можно залететь домой за вещами. Удача в том и заключалась, что сделать это можно было быстро.

Он заскочил домой — мать уже спала и только что-то пробормотала во сне, — захватил вещички, необходимые для юга, вышел на кухню и, слегка подчистив соседские кастрюли, принялся за дело. Достал свои фотокарточки, вынул документы водителя «Волги» и долго рассматривал их, уже не испытывая никаких чувств к растяпе-хозяину, потом взял клей, маленькие ножницы и старый тупой скальпель. Этих инструментов должно было хватить. Он нагнул лампу-журавлик над соседским столом и принялся за работу. Труднее всего было выдавить печать на фотографии, но как ни странно, помогла школа Профессора. Недаром он раз за разом заставлял перебивать номера кузовов и двигателей, добиваясь «идеального качества», как он сам говорил. Какое-то мастерство в руках появилось, это Халява обнаружил в себе с удивлением. А уж аккуратность — это будьте-нате! — на себя, не на дядю работаем!

Утро еще только начиналось. Едва пополз над заливом, над серой ватой тумана, улегшегося почти на самую воду, тонкий, желтовато-зеленый луч далекого солнца, как Халява уже вышел из дому, держа под мышкой сверток с вещами.

Замок открылся легко, был изрядно разболтан. Халява бросил на сидение вещички и, не закрывая дверцы, чтобы сразу рвануть, если включится сигнализация, потянул провода, идущие от замка зажигания. Нет, не зря его обучали в пэтэухе! Машина фыркнула, завелась. Он прихлопнул дверцу, стук ее показался грохотом в утренней тишине, и врубил первую скорость. Мотор работал еле слышно. Да, это аппарат! Халява впервые сидел за рулем «Волги» и сразу оценил ее достоинства. Он выкатился на Средний проспект и, привыкая к машине, прибавил газу. Она пошла легко и послушно, только качнулась стрелка на спидометре. Халява подтянул поближе к рулевой колонке сидение, старый хозяин был много выше ростом, и почувствовал себя увереннее. Теперь — по Среднему, через Тучков мост на Петроградскую сторону и мимо зоопарка, вдоль кронверка под стеной Петропавловской крепости — к Кировскому мосту. Он должен быть уже сведен. Если нет — не ждать, к Финляндскому и через Литейный. Надо выскочить из города, пока этот болван не хватился машины. Судя по тому, что он улегся спать поздно, в шесть утра он не проснется. Значит, есть несколько часов. Сейчас четыре. Проснется, считай, в восемь. То да се, пока в милицию побежит—час, если не больше. Выходит в запасе часов пять.

шесть. Это полдороги до Москвы. А если не сразу хватится, то и больше.

У Кировского моста столпилось несколько машин. Таксисты. В основном пустые. Эти зря стоять не будут. Рвутся сейчас к вокзалам. Халява вылез из машины и важно, впервые ощутив себя хозяином «Волги», подошел к таксисту:

— Мастер, скоро сведут, не знаешь?

Мастер сонным взглядом смерил Халяву, посмотрел в зеркальце на машину, на которой он приехал, и плюнул окурком ему под ноги:

— Вон там, — показал он бровями, — там расписание висит. Все написано! — и поднял стекло, показывая, что разговаривать ему с Халявой неинтересно.

Халява разобрал передний багажничек, «бардачок» по-шоферски, ничего особенно интересного там не было. Какие-то книги с непонятными, но явно медицинскими названиями, записная книжка, поразившая Халяву толщиной, автомобильная мелочь и всякий давно забытый хозяином хлам. В большом багажнике была почти новенькая запаска, инструменты, домкрат, видно было, что хозяин хоть и небольшой аккуратист, но автомобилист старый. Это чувствовалось по всему. Даже ведерко было в багажнике. Шоферское, склеенное из резины. Пока он изучал багажник, машины потихоньку подтянулись к мосту. Хорошо видны были последние сухогрузы, на них перекрикивались матросы, переговаривались через установки капитаны и лоцманы, гудели мощные дизеля, выбрасывая в воздух раскаленный дым. Поплыли вниз крылья моста, засуетились, засигналили машины, и Халява лихо газанул, без труда обходя неторопливых таксистов. Один из них, когда Халява обходил его, покрутил пальцем возле виска, это сразу охладило Халяву. Теперь важно, чтобы никто не остановил. Важно вырваться из города, а там уж — лови меня! Он притормозил, втискиваясь в плотный ряд автомобилей, и вовремя: по мосту прогремел мотоцикл ГАИ.

Дорога в Москву осталась ощущением вечного кайфа. Машина летела, повинуясь ему, раз стрелка спидометра добралась даже к ста сорока, но тут он испугался и отпустил акселератор. Халява пел, заглушая несшуюся из приемника музыку. Скорость и сжавшееся, сократившееся расстояние давали ощущение невероятной свободы.

Один только раз замерло сердце, когда, подъехав к заправочной станции и отстояв небольшую очередь, он с ужасом обнаружил, что на баке стоит импортная заглушка — без ключа она легко проворачивалась и снять крышку бака было невозможно. Халява почувствовал, как вдруг вспыхнули у него уши, лицо, — это было впервые в жизни! — ему показалось, что вся шоферня на заправке подозрительно уставилась на него: «Что за щенок отстоял в очереди, а

потом вдруг рванул, не заправив машину?» Он проскочил по дороге километров двадцать, загнал машину на проселок, и принялся ковыряться в замке заглушки. Пришлось отыскать среди хлама две проволочки, загнуть крючочки и, соединив хомутиком, сделать отмычку. Но замок был незнакомой системы, проволочки гнулись и лишь через полчаса пробка, наконец, поддалась. Неожиданно Халява почувствовал страшную усталость и тут же, едва навернув пробку на горловину бака, плюхнулся на заднее сидение и заснул, не заперев даже машины. И, проснувшись вскоре, долго не мог понять — где он и что с ним приключилось. Была невероятная тишина, в которой распевали птицы. Ему вдруг показалось даже, что он умер — так все было непохоже на его двор на Васильевском острове. Халява подскочил, хватаясь руками за чехлы сидений, и сразу все вспомнил. Машина стояла в лесу, солнце уже поднялось и просвечивало сквозь листья. И тишина не казалась такой уж мертвой. Где-то неподалеку тарахтел трактор, птицы орали над головой как сумасшедшие. Хотелось есть и пить. Он сжевал четвертушку круглого, захваченного из материного буфета, поискал воды, даже перескочил через кювет — ему казалось, что где-то здесь обязательно должен быть родник. Но лес был сухой, чистый и прозрачный. Ясно было, что воды здесь нет. Он немного прошелся по лесу, обнаружив неожиданное ощущение — к машине возвращаться не хотелось. Даже смотреть на нее не доставляло особенной радости. Он взглянул на часы и представил, что могло сейчас происходить в Ленинграде. Была уже половина десятого, а значит в ГАИ знали о пропаже машины. Знали, перекрыли выход из города и дали оповещение по всем дорогам. И в первую очередь — на эту. Главную. Между Ленинградом и Москвой.

Но ехать было надо, он забрался в машину, осторожно развернул ее на неширокой дороге, едва не соскользнув в кювет, выехал на шоссе, заправился — очереди не было, ночные шофера давно уже проехали, и снова полетел к Москве, забыв об утренних страхах — разве могли они сравниться со счастьем лететь по дороге, ни о чем не думая и прислушиваясь только к мощному голосу мотора?

Страх вернулся позже, на подходе к Москве. Сначала замаячил сзади мотоциклист, едва различимый в зеркальце. Через несколько минут оказалось, что он приблизился. Это обеспокоило Халяву, он прибавил скорость и увидел, что встречная машина помигала ему фарами. Неписаное правило шоферов: впереди ГАИ. Халява сбросил скорость, устроился поудобнее на сиденье, может быть проверка документов. Во всяком случае он твердо решил не вылезать из машины.

Патрульный «москвичок» приткнулся сразу за поворотом. Возле него с жезлом стоял гаишник, посматривая на

приближающуюся «Волгу». Халява замер, всматриваясь в лицо парня — тот был немногим старше него. «После армии, наверно, пошел», — неожиданно мелькнуло в голове. Парень стоял спокойно, как бы раздумывая, махнуть жезлом или нет. «Все в порядке! — почувствовал обостренным чутьем Халява. — Спокойно!» — и притормозил, не ожидая взмаха жезла.

— Здравия желаю, сержант! — сказал он с интонацией Профессора. — Перекусить где здесь можно?

— Тут недалеко, — любезно сказал сержант, выговор у него был уже не ленинградский, — километров восемь. Только не превышайте скорости, тут почти все время ограничения.

— Спасибо! — Халява прихлопнул дверцу.

Страх, однако, не прошел. Умом Халява понимал, что надо двигаться дальше и дальше, уйти из зоны охвата, выскочить «за кольцо». Потом объявят большой розыск, но когда это будет, а вот сейчас, сегодня надо ехать и ехать, вырваться из невидимых объятий. Но что-то внутри сломалось, хотелось спать, гудела спина от долгой езды и откуда-то снизу, по позвоночнику поднималась боль. «Отоспимся, а там видно будет!» Он загнал машину в лес, свернув несколько раз по узким, засыпанным иголками лесным дорожкам, и сразу заснул, чувствуя, как боль перетекает из спины в затылок.

В «Лесной избе» звучала музыка, свет выплескивался в широкие окна, то и дело открывались двери и в них мелькал моложавый швейцар.

Халява небрежно подкатил ко входу, немного посидел в машине, любуясь впечатлением, которое он произвел на кучку людей, стоявших возле дверей, отогнал машину в сторону и поднялся на крыльцо. Швейцар, увидев, что кто-то подъехал, выглянул поверх голов.

— Привет! — спокойно сказал ему Халява, поднимая руку. К ладони был приложен рубль.

— Здравия желаем! — бодро ответил швейцар. — Ждем вас! — и раздвинув очередь, провел Халяву внутрь. — Сейчас метр подойдет, — негромко сказал он, — организует местечко.

Половина небольшого зала была свободной. В левом углу, неподалеку от камина, расположилась группа людей восточного типа. Судя по всему, сидели они давно. Два официанта ловко и весело убирали грязную посуду с их стола, а третий уже нес шашлык, под которым на жестяном подносе полыхало спиртовым огнем голубое пламя.

— Хотите поближе к эстраде? — вежливо спросил неслышно появившийся метр. — Сейчас у оркестра перерыв, но оркестр у нас хороший, — он улыбнулся. — И красивая певица.

Вот это и была настоящая жизнь. Та, к которой он стремился. Он с удовольствием поглядывал по сторонам. В компании восточных людей появились девушки. Все, как на подбор, красотки. Халява издали изучал их, и не мог понять, какая больше ему нравится. В конце концов, ему стало казаться, что невысокая плотная блондинка как-то по-особому поглядывает в его сторону. В то время как он, присмотревшись, решил пригласить ее потанцевать — восточные люди не танцевали, — один из сидевших за столиком, с коричневыми ласковыми глазами, подошел к нему и сказал:

— У нас сегодня небольшой праздник, и мы хотим, чтобы хороший человек посидел с нами за столом, а не скучал один.

То, что происходило дальше, было как во сне. Он с кем-то пил, танцевал с девушками, чаще с красоткой-блондинкой, вблизи она нравилась ему еще больше, с кем-то обнимался, ощущая на щеке жесткие негустые усы, потом сам собою возник разговор о машине. Голоса новых друзей стали мягче, ласковей, они хвалили машину, спрашивали год выпуска, Халява в ответ небрежно достал техпаспорт и протянул его одному из парней. Тот взглянул, поцокал языком — совсем свежая еще машина, больших денег стоит! — и вернул документы. Потом кто-то предложил прокатиться — самое время остыть на ветерке. Как-то сам собою возник разговор о продаже машины, мысль эта понравилась Халяве, он ее поддержал — решались сразу все проблемы. Но как это сделать? Надо было обдумать на трезвую голову, и Халява сам захотел проветриться. Просто так, на полчасика. Ехать решили вчетвером: две девушки, одна из них, конечно же блондинка, и тот самый парень, что первым подошел, приглашая к своему столу. Захватили вина, закуски — впервые Халява по-настоящему почувствовал себя хозяином «Волги»! — и помчались по направлению к Москве. Девицы ахали и повизгивали, а суровый парень с блестящими глазами только цокал языком и приговаривал: «Ай, шайтан, хароший машина, настоящий аппарат!» Он неплохо знал дорогу и предупредил, что скоро будет пост ГАИ. Халява сбросил скорость, потом парень что-то доверительно зашептал ему на ухо, что-то вроде, пора, друг, остановиться, давай-ка заедем в лесочек... И все это в сочетании с блондинкой, которая весьма откровенно на него посматривала и позволяла, держа одной рукой руль, второй поглаживать крепкую и теплую ногу так высоко, что у Халявы дух захватывало! Он чуть охрипшим голосом спросил, есть ли где-нибудь боковая дорога, парень ответил — есть и вскоре показал ее. Дорога была неширокой, темной и вела в сторону леса. Едва они въехали в лес, парень снова зашептал ему на ухо: «Притормози, друг, девушкам выйти надо, сам понимаешь...» Потом они

отъехали чуть дальше, остановились, Халява расслабился на миг и неожиданно ощутил у себя на груди чью-то руку. «Ты что?» — хотел было крикнуть он, но парень железной хваткой притянул его голову назад и спокойно вытащил из кармана документы.

— Молчи, ишак! — негромко сказал он и зажег свет, разглядывая корочки. — И с такими ксивами ты ее продавать хочешь? — презрительно усмехнувшись, сказал он. — Пошел вон отсюда! — он сильно толкнул Халяву в спину. — Быстро!

— Ах, ты гад! — начал было Халява, но увидел совсем рядом желто-коричневые, немигающие глаза.

— Быстро отсюда! — человек повел рукой в сторону, Халява отвлекся на миг и тут же почувствовал страшный, воровской удар по глазам растопыренными пальцами. В мозгу вспыхнули электрические разряды, что-то горячее хлынуло на рубашку, и он ощутил, как его небрежно, за шиворот, как котенка, выбрасывают из машины. Потом загудел мотор, но он даже не поднял головы — все казалось, что страшный удар может повториться, потом вдали послышался — или показалось? — женский смех, и Халява потерял сознание.

О том, как он добирался обратно, как не брали его на попутки — не всякий шофер решится подсадить к себе человека, у которого вместо лица вздувшаяся красно-фиолетовая маска без глаз и носа; чтобы взглянуть, первые два дня Халява должен был, преодолевая страшную боль, руками поднимать раздувшееся и кровоточащее веко, — так вот о том, как он добрался до дома, Халява не любил вспоминать. И почему-то все время вертелась в гудящей от боли голове пословица, которую так любила мать и ненавидел Халява: «Мир не без добрых людей». Он убедился в этом сполна: его везли, кормили, поили, предлагали лекарства, совали даже деньги, — он убедился, что мир не без добрых людей, и как-то особенно люто невзлюбил их, этих добряков, которые только и ждут, кому бы помочь. И тем унизить, дать почувствовать меру своего бессилия, своей зависимости от них! Не-ет, этого он им, добрякам, не простит! — так уже позже думал Халява, валяясь дома на старом, продавленном диване, пахнущем пылью и клопами, и слушая нотации матери.

Вот и сейчас, едучи не спеша на «Яве» в сторону Рощина, он вспоминал, думая о поездке на юг, не тот страшный удар по глазам, свое беспамятство и бессилие, а тех, кто позже помогал ему, — и в груди холодной змейкой шевелилась злоба.

Он миновал развилку, ведущую к бетонке, принял влево и вскоре притормозил, сворачивая на грунтовку. Окопчик, который Профессор приказал отрыть заранее, конечно же, не был готов — зачем приезжать лишний раз. Он

отыскал место, намеченное Профессором, загнал мотоцикл в кусты и взялся за лопату. Было жарко, густой смолистый воздух тек сверху горячими волнами. Почти сразу пришлось раздеться. От непривычной работы пот стал заливать глаза. В лесу было тихо, празднично и спокойно. Дорога, хорошо просматриваемая из кустов, в которых Халява копал окопчик, была пустынна. За все время лишь старенький, первых выпусков, «москвичок» медленно протарахтел мимо. За рулем сидел пенсионер в соломенной шляпе. А через час он, все так же старательно вертя рулем и заботливо объезжая каждую выбоинку на дороге, проплыл в обратную сторону.

Халява посмотрел на часы. До приезда «финика» осталось меньше часа. Можно отдохнуть и потихонечку двигать к развилке.

* * *

Тараев прохаживался по перрону, нетерпеливо постукивая жезлом по голенищу. Он не сомневался, что его ребята не упустят Профессора и пацана на мотоцикле, но благородное чувство охотника не давало покоя. Самому все увидеть, а если потребуется — и взять самому!

Митрофанов выскочил из первого вагона и затрусил к Тараеву.

— Быстро, боюсь опоздали! — Они прыгнули в мотоцикл и, Тараев так прибавил газу, что у Митрофанова стало выбивать слезы из глаз. — Хочешь пересесть из коляски? — голос Тараева был едва слышен, ветер разрывал его.

— Нет, — крикнул Митрофанов, — гони!

— Мальца наши дружинники засекли на грунтовке, метров шестьдесят от поворота. Что-то копает. Близко подойти не удалось. А Профессор в репинской гостинице сидит. Занял место в ресторане так, чтобы можно было на дорогу поглядывать. Ждет кого-то.

— Нас он не заметит?

— Мы по верхнему шоссе проскочим!

После Зеленогорска они спустились к морю. Дорога пошла похуже, петляла, выбегая иногда прямо к заливу. Тараев вел мотоцикл уверенно, мягко бросая его в сложные повороты.

— Недалеко уже! — прокричал он и резко взял вправо. Навстречу, почти перекрывая проезжую часть, мчались громадные финские трайлеры. Серебристо-белые гиганты, разрисованные синими надписями.

— Видал, финны как идут? — оглянулся на Митрофанова Тараев. — Знают, что им дорогу уступят. Да и торопятся. Они сегодня же обратно. Разгрузятся на базе — и

домой. Поспешают! — Тараев насчитал три трайлера и удивленно поднял брови. — Должно быть четыре. Один, видно, отстал. Это ведь такая публика — один отстанет, сломается, так бывает, что другой даже и не остановится помочь. Посигналит — мол, привет! — и дальше. — Тараев прибавил газу, но ехал осторожно, внимательно поглядывая вперед. Наконец показался «финик», Тараев вздохнул облегченно, и опять воздух принялся хлестать по глазам.

— Где, ты говоришь, они разгружаются? — что-то вертелось в голове Митрофанова, что-то важное, но пока никак не могло связаться в логическую цепь. Да и как можно думать на такой скорости, когда тебя швыряет в коляске, а глаз не открыть из-за ветра?

— На базе! — крикнул Тараев.

— А что возят?

— Кто их знает, не спрашивал. Знаю, что на базу идут.

И вдруг, все еще не связываясь ни с чем, кроме «на базу идут», в голове возникло имя. Алла Никитична Гулевая, жена Профессора, заместитель директора базы. Алла Никитична Гулевая.

— А ты говоришь, он на женином «жигуленке» сегодня?

— Да, видно, хотел неприметно проскочить. А мне было интересно, что он везет. Так, видишь, оказалось, что яйца финские. Будто в Рощине яиц купить нельзя. Целый ящик прет!

Они проехали развилку, до грунтовой дороги оставалось совсем немного.

— Ты, пожалуй, надень-ка очки. Вдруг этот паренек здесь болтается рядом с проезжей частью. Тогда отвернешься! — Тараев сбросил скорость. — Вот она, грунтовка! — И скомандовал: — Прикройся пологом!

Неподалеку от дороги стоял, греясь на солнышке, Халява, обмахиваясь громадным веником. Мотоцикл резко прибавил скорость, Митрофанов сполз пониже, нагнув голову, и Тараев пролетел мимо Халявы, важно и строго окинув его взглядом.

Метрах в трехстах от поворота на грунтовку приткнулся в кустах старенький «Москвич». Человек, сидевший в нем, увидев Тараева, стащил соломенную шляпу и махнул ею.

— Как дела, Иван Валерьянович? — Тараев свернул на обочину. — Это Иван Валерьянович, мой актив. Командир дружины. А это Митрофанов.

— Ну и дела, ребята, — дружинник был в большом возбуждении. — Не знаешь, с чего начать!

— Тогда с начала! — подхватил Тараев. — И коротко.

— Сначала вот что. Стал мальчонка этот ровчик копать. Недалеко от поворота. Потом пошел на шоссе, лежал там, все на часы поглядывал, потом встал, вышел на обо-

чину. Тут финские машины идут. Три подряд, одна отстала. Он этой, последней-то, лопаткой и посигналил. У меня даже в голове все кругом пошло! Не ошибся ли, думаю? А финн этот притормозил, с ходу развернул махину свою — и задком на грунтовку. Что там делали, честно скажу, не знаю. Малец этот к нему на подножку вскочил. Пока я бежал по лесу, я бежать-то не мастак теперь, смотрю финн уже летит обратно. Дело считанные минуты заняло. А малец возле ровика своего покопался, лапником его прикрыл — и на шоссе. Веник соорудил, видно, следы машины финской замести хотел. Да разве такие следищи заметешь веничком. Граблями и то не сразу!

— Вот такие дела, — Тараев смотрел на Митрофанова, как бы ожидая, какое решение он примет.

— Надо Комитет вызывать, — сказал Митрофанов. — Это их дело!

— А как сейчас вызовешь? — отозвался Тараев. — Надо кому-то ехать?

Бойкий Иван Валерьянович, хоть и жалуясь на немощи, вел по лесу довольно скорым шагом. Они поднялись на пригорок, устланный брусничником, и Иван Валерьянович с размаху рухнул на землю. Митрофанов нагнулся к нему, решив, что старик споткнулся.

— Ложись! — прошипел Иван Валерьянович. — Смотри!

С пригорка хорошо просматривалось шоссе и поворот на грунтовку. На повороте Халява лениво помахивал веником, поднимая пыль и посматривая по сторонам.

— А ровчик-то его во-он там, за елочками. Тоже отсюда видать. Я сейчас малость ориентир потерял, но — найду!

— Что делать будем, лейтенант? — спросил Тараев, повернувшись на бок и вытаскивая сигареты.

— Сначала перекурим, это никогда не повредит! — Иван Валерьянович потянулся к его сигаретам. — А то ты как позвонил, я сорвался, да впопыхах и без курева.

— Теперь надо Профессора ждать, — невесело сказал Митрофанов. Не объяснять же им, что он впервые в жизни столкнулся с таким случаем.

— Будем брать? — деловито спросил Иван Валерьянович.

— Не знаю. — Митрофанов с завистью поглядывал на курильщиков. Все-таки у них было какое-то занятие.

— Смотри, Профессор! — Тараев спрятал сигарету в кулак и пустил дым в листья брусники, словно Профессор мог увидеть дымок с такого расстояния. — Видишь, машинка-то чужая!

Халява отбросил веник и чуть не на бегу втиснулся в приоткрытую дверцу машины. «Жигуленок» пробежал еще несколько метров, остановился, Профессор и Халява ми-

гом вытащили из тайника ящик финских яиц, бросили в салон, и машина исчезла, будто ее и не было. Остался над дорогой лишь сизый дымок. Халява задержался в кустах, выкатил оттуда свой мотоцикл и тоже умчался.

— Ну что, будем брать? — насмешливо спросил Тараев.

— Будем! — ответил Митрофанов и, не прячась, пошел к тайнику.

* * *

Вася Субботин отправил жену на дачу и теперь маялся в общественном пункте охраны порядка, болтая с Митрофановым. Домой идти не хотелось, он еще не остыл от своего очередного выступления в красном уголке.

— Из всех приглашенных один Габсалямов явился, боится, что я его выселю! — пожаловался Вася, устраиваясь в кресле поудобнее. — Только актив был на лекции. А актив — это кто? Пенсионеры! Им про алкоголизм рассказывать — все равно, что меня уговаривать живых устриц не есть. Я их в жизни не видел и, думаю, не увижу. А я специально доктора притащил. Жаль, ты не видел. Красавец парень. Во! — Вася показал. — Под дверь! И фамилия у него — Бесов. Только посмотрит — через десять секунд псих увядает и прямо к нему на плечо с рыданиями падает. Готов! Прости меня, говорит, Иван Михалыч! И сам в машину идет. Вот человек какой! А толку нет. Один Габсалямов и слушал, остальные сразу задремали. Старенькие. Правда, Маня Габсалямова даже писала что-то. Что уж писала — не знаю, но старалась. Вроде тебя! — пошутил Вася, глядя на писанину Митрофанова. — Ты расскажи толком, потом записать успеешь!

— Да что рассказывать, — оторвался от бумаг Митрофанов. — Позвонил майору, доложил, он поддержал, надо, мол, Комитет вызывать. Пока оттуда приехали, Профессора на даче уже нет, один пацан. Начали с ним разговаривать, я посидел немного и уехал. Тем более что пацан ничего не знал, сказал только, что это первая часть операции, вторая ночью, точно неизвестно когда, но Профессор сам приедет на то же место, оставит что-то для передачи финнам. Вот и все дела. Что оставит — не знает. Откуда поедет — тоже. Ну вот они и решили брать на месте. С поличным.

— И все? — усмехнулся Вася.

— Все!

— Что хоть в ящике было?

— Видеосистемы западногерманские.

— А, видики! — с уважением сказал Вася. — И ты уехал?

— Как видишь!

— Ну ты хорош! — Вася повертел пальцем у виска. — Понял! Нет? Да такое дело, может, раз в десять лет бывает! И ты — на линии огня, что называется. Прихватил всю банду. И отдал кому-то! Да они имени твоего не упомянут нигде! Сами по благодарности от министра, не меньше, а ты с кукишем! — Вася огорченно махнул рукой. — Сколько тебя учить надо? Надо, надо быть умнее! — он печально смотрел на Митрофанова. — Это ж окно за рубеж! И что туда будет передаваться?.. — он пригорюнился. — А теперь все, прошло-проехало! Эх, скажу откровенно, меня бы туда! — Вася зажмурился. — Я бы повязал этого Халяву, Профессора бы сам отловил — и меньше чем на орден даже и близко ко мне не подходи!

— И не сообщал бы никому? На свой страх и риск?

— Почему не сообщал бы? Но только умно! Так сообщил бы, что ребята сказали бы, ты, мол, Вася, пока что сам разбирайся, обстановка неясная, если что — звони! И порядок! А потом уж — победителей не судят! Да я бы и сейчас посмотрел, где Профессор находится! — сказал Вася с вызовом.

— Установка — не трогать его, даже если случайно встречу. Брать на месте решено, с поличным.

— Мало доказательств для суда? — Вася качал головой, глядя на него, как на неразумное дитя. — Мало? Или достаточно? Вот то-то и оно! Вполне! А раз так, ты его отловил — и порядок. Начинают смотреть, кто взял преступника — Вова Митрофанов. Можно сказать, начинающий кадр. Вова сразу на примете. И соответственно, все остальное. Дело-то крупное, парень! — Вася повздыхал и совсем было уж собрался уходить, осталось лишь обмахнуть плечи щеточкой, которую он держал в руке, как в дверь, запыхавшись, ввалилась Цифирька.

— Ой, как хорошо, что я вас застала, я вас весь день сегодня ищу! — Она села на стул рядом со столом Митрофанова, стараясь отдышаться. — Я хотела сказать, что у них на сегодня назначено! — Она оглянулась на Васю, но тот сделал вид, что и не собирался уходить, а углубился в чтение бумаг.

— Давай по порядку, — спокойно сказал Митрофанов. — У кого это — у них?

— Вы только не смейтесь, — быстро проговорила Цифирька, — я сама думала, что это не серьезно, игра какая-нибудь, а потом... потом... так получилось, что я... ну, как бы подслушала... Вы не думайте, я просто хотела подкрасться потихоньку, чтобы они меня не слышали... ну, просто побыть, чтобы они не знали, что я их слышу... Я думала, они обо мне будут говорить... — Она посмотрела на Васю, но тот сидел твердо, не замечая паузы в рассказе Цифирьки. — А они говорили... об этом... — сказала она едва слышно.

— Они — это кто?

— Славчик и Бред! — спохватилась Цифирька. — Они на крыше лежали, а я хотела потихонечку...

— Теперь скажи, спокойнее, не волнуйся, говорили о чем?

— О том, как пойдут сегодня... Они хотели к вам прийти, Славчик бегал даже, но вас не было... И они решили, что пойдут...

— Куда?— мягко спросил Митрофанов, видя, что она начинает плакать. — Ты успокойся, ничего страшного не произошло, да?

— Не знаю... — вдруг в голос заревела Цифирька. — Не знаю! Они собирались на что-то страшное! Даже Толик сказал, что он боится! — и снова принялась плакать.

— Стоп! — резко остановил ее Митрофанов. — Давай так. Быстро и точно! Куда они собирались, когда, зачем? Ну, не расклеивайся! Первое — куда? Быстро!

— Я не знаю... Слышала, поняла то есть, что это церковь какая-то. Туда отец Славчика устроился. Славчик говорил, что ему понравилось, как реставраторы работают.

— Хорошо! — кивнул Митрофанов. — А когда они собирались туда идти?

— Вечером. Или ночью даже. Я думала, что я вас не найду, я сюда Толину бабушку присылала, Марью Филипповну. Она вас тут ждала, пока ее вот.. — Цифирька посмотрела на Васю. — Пока ее не выгнали!

— Никто ее не выгонял! — обиделся Вася. — Сидит здесь, понимаешь, старуха... так, знаешь, малость не в себе... И говорит, что будет разговаривать только с тобой лично. Ну что, сидишь и сиди. А потом у меня лекция начинается, психиатр приехал. Я ей вежливо — не могли бы вы, мадам, подождать моего коллегу на улице... Сам понимаешь, не оставлять же ее здесь! А она мне: я, молодой человек, не в том возрасте, чтобы ждать кого-нибудь на улице! И в амбицию! Ну я тоже не сдержался. В красном уголке люди собрались, актив, психиатр, тоже торопится, а старуха уперлась... Пришлось попросить вежливо...

— Это вы называете вежливо!—не выдержала Цифирька. — Она до сих пор лежит с сердечным приступом!

— Давайте не будем отвлекаться от дела, — остановил их Митрофанов. — Зачем они пойдут в церковь ночью? Себя испытать? Или что?

— Да нет! — Цифирька остановилась и строго посмотрела на Субботина. — Я не буду при этом человеке рассказывать!

— Я не человек! — гордо сказал Вася. — Я участковый инспектор Субботин!

— Не знаю, — Цифирька едва взглянула в его сторону. — Для меня вы просто человек. Тем более что вы не в форме.

Вася хмыкнул и ушел в соседнюю комнату, сильно хлопнув дверью. И Вася и Митрофанов знали это свойство двери — стоило сильно прихлопнуть ее, как она почти сразу же тихо и медленно отворялась.

— Они туда пошли, потому что их заставил... у них во дворе есть такой противный тип... Они его Профессор называют... У них какие-то дела с этим Профессором, они запутались и теперь должны идти в церковь. И что-то там достать. Я не знаю что, я не поняла.

— Что же за церковь?

— Я знаю только, что отец Славчика там работает. Его Профессор туда устроил. И что они фонарик берут. Значит, это будет ночью? — сообразила она.

— Хорошо! — Митрофанов постарался не выдать беспокойства. — Сначала узнаем, что за церковь, — он набрал номер. — Куйбышевский РУВД? Участковый инспектор Митрофанов. Прошу консультации. Тут такой возник вопрос... — Он расспросил о церкви, выслушал ответ. — Так... Филиал музея?.. Где? Тоже на Невском? Понятно. Он не реставрируется случаем? А спросить можно у кого-нибудь? Есть, подожду у аппарата!—Митрофанов оторвался от трубки. — Сейчас выяснят. Так, добро. Понял. Реставрация уже закончена? Спасибо, понял! — он положил трубку. — Все, девочка, спасибо тебе, дальше мы уж сами будем действовать. Есть такая церковь!

— Нет, я с вами должна ехать! — решительно сказала Цифирька.

— С нами нельзя. Ты иди лучше к этой старушке, к Толиной бабке, и там жди. Ты там будешь нужнее. Иди!— Митрофанов повернул ее за плечи и чуть подтолкнул к выходу.

— Скажите, только честно, — остановилась она возле самой двери. — Я им не сделала хуже? Что к вам пришла? Нет? Вот и Марья Филипповна мне то же самое сказала!— она кивнула и вышла, все еще придерживая платок возле носа.

— Ну идет на тебя, ну идет! — появился из соседней комнаты Вася. — Я рад за тебя! — Он присел, поблескивая глазами.

— Дежурный? — позвонил в отделение Митрофанов. — У тебя машины нет? Надо мне срочно съездить. Ненадолго, я думаю. Нет? А когда будет? Тоже не знаешь... — Он хотел положить трубку, но ее перехватил Субботин: — Коленька, здорово, Вася Субботин. Как живешь-можешь? Хотя, что я спрашиваю женатого человека. Коленька, родной, сделай нам машинку. Надо, надо, родной. Ну, это ж святое! Когда подошлешь? Надо срочненько. Добро, ждем! — Вася аккуратно положил трубку. — Вот так, Володенька, и порядок в танковых войсках!

* * *

Петр Григорьевич любил нужных людей. И даже в известном смысле был их коллекционером. И гордился тем, что может «найти выход» на любого человека. А здесь все было просто. Михаил Лазаревич, небольшого роста, полненький человечек, который сейчас вел его по музею, несколько лет назад был его автомобильным клиентом. Потом возникал еще раз-другой, спрашивал совета по делам своих друзей-автомобилистов. О себе скромно говорил — по хозяйственной части, и видно было, что птица он полета крупного. Потом что-то стряслось, что — деликатный Петр Григорьевич не хотел уточнять, но милейший Михаил Лазаревич оказался здесь, в музее. Хоть и при искусстве, но тоже по хозяйственной части. Но часть здесь, конечно же, была уже не та. Это было видно по всему. Михаил Лазаревич потускнел, обмяк, смеяться стал не так уверенно и, как показалось проницательному Петру Григорьевичу, даже его золотые зубы блестели не так ясно. Однако это было на руку. Временно Михаил Лазаревич стал демократичнее. В прошлые-то годы уже не пошел бы провожать Петра Григорьевича сам, дал бы команду, а сейчас идет, посверкивает зубами, перстнем на мизинчике и сам, лично, поясняет. Что может, конечно.

— Вот видите, — Михаил Лазаревич обвел громадное помещение ручкой. — Хорошо, что вы у нас не впервые, видите, так сказать, все в процессе. От начала и, как говорится, до благополучного исхода. Грандиозная работа проведена! Ведь фрески практически пришлось заново создавать. А попробуйте кой-каким чиновникам, — он понизил голос, — и чинушам объяснить, что такое фреска. Они думают, бери краску и малюй, да? А то, что реставраторы сами эти краски готовят, сами растирают, замешивают их на яичных желтках — представьте себе, на чистых яичных желтках! — а кому потом отчитываться? Михаилу Лазаревичу! И попробуйте проверить, сколько их там в краске, этих желтков, я правильно говорю? Это ж никакая экспертиза не скажет!

Он еще продолжал рассказывать, время от времени взмахивая ручками, но Петр Григорьевич все уже увидел. Снимались леса, подмости, доделывались последние мелочи — все было так, как и должно быть перед открытием. Но главное было уже на месте. Молодые люди осторожно вносили иконы и по команде высокого тощего человека расставляли их вдоль стен.

— Это кто? — поинтересовался Петр Григорьевич.

— Мастер! — подмигнув, ответил Михаил Лазаревич. — Создает экспозицию! Я уже говорил вам, что здесь будут четыре шедевра? Говорил? Так вот, чтобы они, эти шедевры, заиграли, надо, так сказать, бриллиантам создать

оправу, верно я говорю? Так вот он — мастер! А вон и сами шедевры! — он кивнул головой в угол. Возле стены стояли четыре небольшие иконы с ликами, закрытыми папиросной бумагой. Мимо таскали стремянки, ходили уборщицы с тряпками, какие-то девицы бросались наперерез мастеру, то требуя что-то, то прося подписать бумаги. Стоял гул, пахло красками, сырой штукатуркой и олифой, как в квартире после ремонта. И среди всего этого — шедевры.

«Странно, странно, — подумал Петр Григорьевич, — странно мы относимся к шедеврам», — и, не торопясь, зашагал к выходу. Почти у дверей стояла бочка с олифой.

— Олифа? — поинтересовался Петр Григорьевич. — Натуральная?

— У нас синтетики не бывает! — обиделся Михаил Лазаревич. — Все, как говорится, на чистом сливочном масле! Требуется? — и прочитал ответ в глазах. — Нет вопроса, Петр Григорьевич. Единственная просьба — не оттягивать. Как только заберут на склад и оприходуют — дело хуже. Пока здесь — нет вопросов, вы поняли меня?

— До завтра можно здесь оставить?

— Лучше бы сегодня, Петр Григорьевич, дорогой. Вы же на машине. Тару я обеспечу. Поймите меня правильно, завтра прибудут высокие гости, будут принимать — и вдруг бочка. Некрасиво?

— Завтра! — твердо сказал Петр Григорьевич. — Во сколько вы здесь? В восемь? К этому времени я подскочу! — Он пожал мягкую ручку Михаила Лазаревича и вышел. Все складывалось наилучшим образом. Теперь надо объяснить этим болванам-мальчишкам, где стоят шедевры. За разговором Петр Григорьевич выяснил многое. И, главное, как он и предполагал, сигнализация электрическая не в порядке. И вахтеры отключают ее. Впрочем, на третьем маленьком окне справа, он проверил, кованая, стальная решетка была едва заметно сдвинута. Отец Славчика сработал. Как и договаривались.

Петр Григорьевич любил нужных людей. Но еще больше он любил людей со слабостями. А еще лучше — с пороками. Эти шли на все и еще бывали благодарны. Вроде этого типа. Всего лишь за то, что Михаил Лазаревич взял его дежурным электриком, он, не нарушая сигнализации, оставил приоткрытым окно. «Нет, не грубая сила, — думал он, выходя из музея, — не грубая сила, Алла Никитична, как вы могли бы предположить, двигает людьми. Не сила, но воля и точное знание психологии!» — Петр Григорьевич успокоился, проверив все лично, но легкий холодок тревоги бродил внутри. Чтобы избавиться от него, он позвонил на дачу. Халява снял трубку почти сразу же. Правда, говорил каким-то странным, сдавленным голосом.

— Ты что, напился, что ли, скотина? — вспыхнул Петр Григорьевич. — Нет? А почему так странно говоришь? Что?

Кимарил? Тогда другое дело. Спи дальше, только не прокимарь все на свете! Я больше звонить не буду! — и повесил трубку. «Кимарит! Да, такие нервы, к сожалению, можно иметь только в ранней молодости! — подумал он. — И то, если ты полный дебил!» — добавил Петр Григорьевич и остался доволен добавкой. Затем он снова снял трубку и набрал телефон Аллы Никитичны. Послушав ее «алло, алло!», повесил трубку и снова набрал номер. И снова промолчал. Так у них было договорено на случай, если все в порядке и дело не требует дополнительной информации.

* * *

Милицейский газик свернул на площадь Мира и помчался по Садовой.

— Ну так что она тебе еще рассказала? — Вася пристроился рядом и дышал Митрофанову в ухо. Цифирька вернулась, вспомнив детали из разговора Славчика и Тольки.

— Собираются в проходном дворе, потом по наружным лесам — к окну, мальчишки лезут внутрь, что-то вытаскивают, Профессор тут же забирает «это» — и все!

— И сразу рулит на встречу! — Вася подмигнул Митрофанову, как бы давая понять, что сержанту-шоферу все знать не положено.

Через час они изучили дворы вокруг церкви наизусть. Проходной был только один. Газик поставили в соседний двор, до него было рукой подать, и присели в тени на лавочке, посматривая на белеющее здание храма. Вася покуривал в кулак и, как показалось Митрофанову, даже дрожал от нетерпения.

— Схема такая, — тихонько сказал Митрофанов. — Поскольку ребята из Комитета будут брать его с поличным, наша задача — не вмешиваться. И не более. Добро, Вася?

— Добро, добро, — отозвался тот, пожимая плечами. — Мы что же, как сторонние наблюдатели выступим? Нас могут не понять и по головке не погладить! — он вдруг вздрогнул. — Смотри!

В нечеткой, расплывчатой тени белой ночи показалось на фоне храма темное пятно, потом еще одно.

— Они! — Вася, согнувшись, перебежал поближе, прижимаясь к стене.

— Не лезь сюда! — зашипел ему в спину Митрофанов. — Профессор где-то здесь, засечет!

На башне Думы пробило два часа, потом прозвонили четвертушки — одна и вторая. Глаза стали слезиться от напряжения. И тут мелькнула еще одна тень на лесах.

— Смотри, смотри! — повернулся Вася. — Профессор!

— Я вижу! — выдохнул Митрофанов. И они, не сговариваясь, продвинулись ближе. В тишине стало слышно, как поскрипывают наверху леса. Часы пробили еще четверть, почти сразу над их головами послышался шум, неясные голоса и, может быть, сдавленный крик.

— Я туда! — беззвучно сказал Вася, показывая вверх большим пальцем.

— Нет!

Снова стали слышны голоса и неожиданно наверху вспыхнул огонь. Было такое впечатление, что кто-то наверху размахивает факелом. «Сигнализируют кому-то?» — подумал Митрофанов, и тут же факел, описывая широкую дугу, полетел сверху и грохнулся неподалеку от Васи, разметав ярко вспыхнувшие брызги. Брызги горели, пополз едкий бензиновый дым. Вася ойкнул, прижал рукой вспыхнувшую штанину и неожиданно бросился наверх.

— Стой! — вполголоса крикнул Митрофанов, но Вася уже мчался по шаткому деревянному трапику, ведущему на леса. Митрофанов кинулся было за ним, но сообразил, что этот, приставленный ребятишками трапик, может быть, единственное место, где можно спуститься с лесов, и не побежал за Субботиным, уповая на осторожность и быструю реакцию Профессора.

И не ошибся. Наверху послышались крики, что-то грохнуло, затрещала сломавшаяся доска и вдребезги разлетелась на асфальте, леса заскрипели и вдруг на втором этаже лесов появилась тень. Митрофанов едва успел отпрянуть в сторону. Профессор, раскачивая леса и не скрываясь, пробежал к трапику, кряхтя и как-то странно постанывая сполз с него и с неожиданной быстротой, держа что-то под мышкой и оседая набок, помчался через проходной двор.

Через секунду с трапика обрушился Вася и с криком: «Держи!» — кинулся вслед за Профессором.

Вася несся с такой скоростью, что Митрофанов, рванувшийся почти одновременно с ним, сумел догнать его только почти в воротах.

— Стоять, стоять я приказываю! — загремел Митрофанов.

Но Вася лишь на мгновение оглянулся и снова бросился в темноту подворотни. Правда, этого мгновения хватило для того, чтобы достать Васю и по-футбольному, подкатом, уложить его на землю.

— Ты что! Ты что! — Субботин задохнулся от гнева и, не удержавшись, лягнул Митрофанова каблуком в лоб. — Эх, ты! — и стал медленно подниматься, отряхивая брюки и рассматривая свежие ссадины на ладони.

* * *

Митрофанов вскочил на ноги и, не слушая причитаний Васи, побежал обратно к храму, к мальчишкам. Они уже шли ему навстречу, и Митрофанов поразился той перемене, которая произошла с ними. Как будто весь груз последних дней разом рухнул на них. Они шли медленно, не глядя друг на друга, но связанные внутренне, это чувствовалось по всему. Славчик всхлипывал, держась за Толю. На щеке у него была ссадина. Рубашка у Бредихина — вся в обгорелых дырках. Увидев Митрофанова, они остановились было, но тут же двинулись снова. Навстречу ему.

— Ну что? — спросил Митрофанов. — Живы-здоровы? Травмы есть? — надо было что-то говорить, поддержать ребят.

— Вон у Славчика фингал!

Славчик молча повернулся, и Митрофанов увидел, что у него заплыл глаз.

— Он, гад, все сжечь хотел! — всхлипывая, проговорил Славчик. — Сам напугал сначала, говорит, вы что́, так в своих ботинках там и болтались? Мы говорим, да! А он — значит вы, кричит, кретины, вас же поймают сразу! Собаку пустят — и все, вы готовы! Надо, кричит, олифу разлить, там бочка с олифой есть. Я и спустился снова. А потом смотрим, он паклю бензиновую на палку накрутил и поджечь хочет! Бред его схватил за руку, он сразу понял, что Профессор поджечь хочет. А я еще там был, внутри. А потом я уж вылез, мы вдвоем паклю выбили у него... Он здоровый такой... — Славчик перестал всхлипывать и редко, глубоко дышал. — А что нам будет за это, а? — спросил он, помолчав.

— Ладно, об этом мы еще поговорим, — сказал Митрофанов. — А сейчас быстро в машину, надо до ближайшего травмопункта добраться. Смотри, какие у Бреда ожоги!

* * *

Утром на планерке майор подошел к Митрофанову, внимательно изучил на его лбу след, оставленный каблуком Васи Субботина, и громко сказал:

— Поздравляю вас, товарищ Митрофанов. Мне сегодня звонили из Комитета, ваш подопечный взят. На месте преступления и с поличным. Иконы из собора, которые он собирался переправить за рубеж, вернулись. Правда, пока в качестве вещественных доказательств.

И выслушав ответ Митрофанова, добавил:

— Помните наш разговор? Когда вы спросили, хорошо или плохо вы работаете? Хочу при всех сказать, что я вашей работой доволен!



Николай Крыщук

ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ!

Сегодня у меня двойное прощанье: Николай Прохоров расстается с читателями, я расстаюсь с Николаем Прохоровым.

Шесть лет жил я на журнальных страницах «Авроры», за редкими исключениями, под этой фамилией, немудрено образованной из моего отчества. Литературную роль для новой рубрики мы придумывали вместе в редакции. Варианты были разные. Одни предлагали сделать постоянным собеседником читателей доктора, другие журналиста, третьи учителя, четвертые психолога, пятые философа. Остановились на писателе. Вот только никому тогда, в том числе и мне, не пришло в голову, что вести диалог с читателем можно просто от своего имени.

Сейчас уже трудно объяснить, почему так получилось. Думаю, что эта издательская застенчивость была плотью от плоти своего времени. Личность была не в моде. Даже Генеральный секретарь, принимая очередную награду, с традиционной скромностью относил ее на счет всей партии. Таков был стиль. За эпизодическими выступлениями в печати от первого лица всегда чувствовалась большая организационная работа суммарных безличностей. На этом фоне подчеркнутая субъективность воспринималась как бестактность человека, не знакомого с правилами.

Мы пошли на хитрость: «Я» оставили, но владеть им доверили персонажу. Не могу сказать, что я чувствовал при этом какую-то неловкость. Нет. В сущности, я всегда писал от своего имени. Но все же, когда читатели, сличая тексты Крыщука и Прохорова, один за другим стали раскрывать мой псевдоним, мне было приятно.

Говорят, смена читательского поколения происходит каждые семь лет. Книга, не переизданная через семь лет, рискует просто не попасть к новой аудитории.

Мои первые читатели уже отслужили в армии, получили профессии и, наверное, скоро поведут своих детей в школу. Школьники, которых я призывал бороться за истинное самоуправление, которым говорил, что демократия без боя не дается, уже сами стали учителями. Мне было бы грустно узнать, что они за эти годы «помудрели» и излишнюю самодеятельность своих подопечных воспринимают как посягание на учительскую власть. Я же, как и прежде, повторяю: объявляющий войну детям должен заранее смириться со своим поражением. И как прежде говорю: дети, будьте бдительны!

Много печалей приносит с собой возраст. Но может быть, всего сильней ощущаем мы его неумолимость, когда вдруг обнаруживаем, что понятия «мы» и «они» в нашей жизни давно поменялись местами. Вчера «мы» — дети, а «они» — взрослые. Сегодня наоборот. Вчера «качали» права, сегодня тяготимся обязанностями. Вчера перламутровый жук драгоценно скребся в коробке, сегодня — «выкинь эту гадость». Как жаль было родителей с их нескончаемыми претензиями друг к другу — так и проживут на кухне свою единственную жизнь. Но вот девушки бросили своих Д'Артаньянов и пошли под венец с Пьерами Безуховыми, а через некоторое время, смотришь, удивленно говорят друг другу совсем как герои Зощенко: «Чего хорошего в браке и зачем к этому стремиться — это прямо трудно понять».

Как всякий человек, посвятивший жизнь исследованию и совершенствованию нравов, попытавшийся влиять на характер и поведение человека, должен с горечью признать, что дело это почти безнадежное. Это не пессимизм, нет, скорее — откровение на полустанке. Не раз знакомые учителя, встретившись через несколько лет со своими выпускниками, признавались мне: «Как бы ни была замечательна жизнь в классе, каким бы убедительным и настойчивым ни казалось стремление учеников к жизни духовной, побеждает в конечном счете семья» (имеется в виду, конечно, семья, которую в просторечии называют мещанской). В таком же примерно тоне жалуются родители на влияние улицы, а разочарованный человек — на силу обстоятельств. Все, я думаю, по-своему, по-житейски правы, но все при этом проходят мимо существа вопроса.

Не помню точно, кажется, у Платона проститутка говорит философу: «Сколько ты ни зови их к Богу, а стоит мне только поманить пальцем, и они пойдут за мной». «Конечно, — ответил философ, — потому что я зову их вверх, а ты вниз».

Так, по существу, и живем все мы между двумя этими тяготениями. Они попеременно побеждают в нас, и жизнь под их влиянием в конечном счете вычерчивает свою индивидуальную кривую. Постоянные напоминания о высокой норме только на поверхностный взгляд выглядят бессмысленными и оторванными от жизни. Они, несомненно, влияют на ее рисунок, заставляя иногда подниматься над собой или, по крайней мере, помогая балансировать на краю очередной пропасти, хотя вниз мы, конечно, идем и чаще и охотнее.

Но коли мы не верим в святых, будем последовательны: не существует и стопроцентно порочных людей. И значит прозрение

не выбирает дорог, но только ждет своего часа. И тут порой, как сказано у поэта,

Всего и надо, что вчитаться — боже мой,
всего и дела, что помедлить над строкою —
не пролистнуть нетерпеливою рукою,
а задержаться, прочитать и перечесть.

Поскольку речь у нас зашла о семье, хочу привести рассуждение из Веданты, на которое я попал недавно, перечитывая Сэлинджера. Недаром было сказано, что прозрение ждет своего часа. Ведь лет двадцать назад я это рассуждение скорее всего именно пролистнул нетерпеливою рукою, не задержался и не перечитал, а теперь вот подумал даже с некоторой обидой, почему нам не давали читать эти простые слова в ту хотя бы пору, когда мы заучивали клятву пионера? Вот они: «Брачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего служить друг другу. Воспитывать детей честно, любовно и бережно. Дитя — гость в доме, его надо любить и уважать, но не властвовать над ним, ибо оно принадлежит Богу».

Вполне возможно, что наставление это покажется многим излишне аскетичным и суховатым. «Служить», «учить», «укреплять» — не слишком ли строгий тон для радостнейшего из чувств? В юности мы часто ставим знак равенства между любовью и браком, мы уверены, что брак это просто продолжение любви, ее узаконенная форма. И дело не только в том, что в семнадцать любовь является важнейшим, а иногда и единственным содержанием жизни, но и в традиционном взгляде, который с детских лет прививает нам литература. В ожидании сильной любовной страсти иногда проходят годы. Человек, вступивший в брак не по любви, чувствует себя ущербным и предавшим некий идеал. Сколько несчастий породило это заблуждение!

Сегодня, чтобы представить себе картину общественной жизни и определить свое в ней место, мы все чаще обращаемся к социологии. Что же она говорит нам по этому поводу?

Прежде всего, что любовь является далеко не единственным мотивом при вступлении в брак. С. И. Голод, например, насчитывает по крайней мере пять таких мотивов: по любви, по духовной близости, по материальному расчету, по психологической адекватности, по моральным соображениям. Характерно, что из браков по расчету 100% неудовлетворительных (по оценке самих супругов). Но важно, что и браки, заключенные по любви, тоже не самые стабильные и счастливые. Максимально удовлетворительны из них в процентах 37,9, удовлетворительны — 41,8, неудовлетворительны — 20,3. Наиболее положительные показатели у супругов, которые образовали семью, исходя прежде всего из общности взглядов и интересов (соответственно: 40,4 — 46,4 — 13,2).

Конечно, статистика бессильна охватить и проанализировать бесконечные варианты человеческих взаимоотношений. Но очевидно одно: любовь является не только не единственным, но и совершенно недостаточным условием счастливого брака. В браке действуют иные, многими так до конца и неосознанные законы.

Любовная страсть — яркое и сильное переживание, прекраснейшая привилегия возраста. Но это вовсе не значит, что дальше человека ждет серая и однообразная жизнь без любви. А ведь многие так и думают, этого и боятся. Когда им говорят, что человек может быть счастлив, например, в работе, то это звучит либо наивным

обманом, либо горькой издевкой. Они ведь знают наизусть, что «только влюбленный имеет право на звание человека».

Многие потом обижаются на Блока: соблазнил и обманул. Обещал любовь чуть ли не космическую, которая пересоздаст человека, природу, устройство всей жизни человеческой. Поверили ему, собрали все силы для этого неземного перелета, любили истово, самозабвенно, зажмурившись... А открыли глаза: та же местность, те же люди, идти надо пешком к своей профессии и благоустройству, и любовь осталась где-то позади прекрасным, но сумбурным воспоминанием. Тоска.

Тоска-то, может быть, и тоска, но причины ее несколько в ином. Прежде всего давайте снимем вину с поэта. Вы прочитали в нем то, что хотели прочитать. А на такое, например, признание, наверняка не обратили внимание:

Ты знаешь ли, какая малость
Та человеческая ложь,
Та грустная земная жалость,
Что дикой страстью ты зовешь?

Или:

И, наполняя грудь весельем,
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал!

Короче, у Блока, как у всякого поэта, своя судьба и своя трагедия. Всем же хорошим и всем плохим в себе мы все же обязаны себе, а не книгам. К тому же многих, я думаю, соблазнил не Блок, едва знакомый по школьной программе, и не какой-нибудь другой поэт, а молодость и природа.

Я уверен, что несмотря на пресловутую сексуальную революцию, в которой одни видят развращенность нравов, другие — свободное, противостоящее ханжеской морали отношение к сексу, надежда на мощную преобразовательную силу романтической любви живет в каждом. Человек порой бессознательно связывает с ней основные надежды на счастье и резкую перемену в жизни. Такова традиция европейской культуры, носителями которой все мы, от самых образованных до тех, кто прочитал едва ли десяток книг, половина из которых детские сказки, являемся. Это рассеяно в воздухе, в языке, в тех же сказках. Поэтому правильно поставить вопрос: насколько зрелы и основательны эти надежды?

Вступать в бой с многовековой традицией — для этого у меня, скорее всего, ни вооружения не хватит, ни места. И все же... Ведь какие-то сломы и повороты в развитии культурных представлений происходят не в головах культурологов, а в нашем с вами сознании и поведении. У одного «случилось», второму «померещилось», тысяча сто двадцать пятый «подумал, что», а потом оказывается, что все это было выражением объективной тенденции, которая захватила целые группы населения, даже народы, а то и весь мир. Поэтому я скажу просто, что «померещилось» лично мне, не претендуя на широкие обобщения.

Любви так много поклонялись и так часто воспевали ее, что самые искренние слова о ней не могут, кажется, выйти за рамки банальности. Любовь — это, конечно, большое счастье, редкая удача, а еще вернее — великолепный дар, равноценного которому, может быть, не изобретала природа. Но именно потому, что это

не просто счастье, но еще удача и дар, ее нельзя делать смыслом и целью жизни. Нет, не только потому, что дар и удача меньше всего дело воли и желания, а значит, ставить на любовь по крайней мере глупо, но и потому, что при всей своей бесценности, любовь не может быть самостоятельным содержанием жизни, но только сопровождением ее, только окраской, только тем, что усиливает какое-то иное, важнейшее содержание и помогает проявиться тайному смыслу всего происходящего. Поставить на любовь — значит убить любовь же. Поставивший на любовь, становится искательным и жестоким, он скудеет умом и пренебрегает призывами совести. Любовь, открывая бесконечный и одновременно сокровенный смысл жизни, скоро начинает скучать в созерцании и любовных ласках. Ей этого мало, ей необходимо постоянно реализовываться еще в чем-то: в делах, в творчестве, в детях, в друзьях, в познании. Не будь всего этого у человека — любовь постепенно захиреет и умрет, а сам человек превратится в жалкое существо без призвания и воли.

С детства запомнились мне мысли одного из героев Андрея Платонова, когда от него уходила жена: «Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно.

...После пожара и после утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. ...и тогда мир перед ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально и страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди».

Поймите правильно: я (да и Платонов в приведенном отрывке) вовсе не призываю сдерживать страсти и бежать наслаждения. Как поет черепаха Тортила голосом Рины Зеленой: «Юный друг, всегда будь юным! Ты стареть не торопись!» Она права, и дай, как говорится, бог. Но юность все-таки проходит, притом быстрее, чем нам бы этого хотелось, и все, что я сейчас пишу, я пишу в предчувствии ваших будущих и совершенно необязательных разочарований.

Для любви достаточно любви, для жизни требуется еще многое: мужество, ум, талант, терпение, со-чувствие — да мало ли! И все эти многообразные качества необходимы именно потому, что столь же разнообразна жизнь, обстоятельства и наши собственные в них проявления. В этом смысле и супружество — состояние не менее, а в чем-то и более богатое, чем любовь. Эротический момент несомненно присутствует и в нем, но характерно, что все супруги ставят его на второе, третье, а то и четвертое место по степени значимости. Он не угасает, нет, но как бы очеловечивается, предполагая все больше и интимную созвучность, и общность взглядов и интересов, и служение друг другу, детям и делу.

Жизнь — грандиозный, благодатный, а порой утомительный и болезненный переход из небытия в небытие. Супруги помогают друг другу совершать этот переход, и поэтому ценность супружества возрастает с каждым прожитым годом. Подумайте об этом прежде, чем переступить порог разочарования.

По-разному за эти годы складывались мои отношения с читателями. Были периоды, когда шли потоки исповедей, и периоды, когда изливались потоки брани, письма, взывающие к спору, и письма, исполненные благодарности и признания за то, что какая-то из Тетрадей поддержала, помогла справиться с бедой или задуматься. Одна Тетрадь вызывала огромное количество откликов, на другую приходило два-три письма. Я старался не обольщаться и не огорчаться, сохраняя веру в своего читателя. Журналисты знают, что в редакцию пишут люди особого склада либо те, кого подвигнули на это особые обстоятельства. Остальные просто читают и не испытывают потребности самим взяться за перо. Когда писем было совсем мало, я повторял про себя строчки Давида Самойлова:

Читатель мой — сурок.
Он писем мне не пишет!..
Но, впрочем, пару строк,
В которых правду слышит,
Он знает назубок...

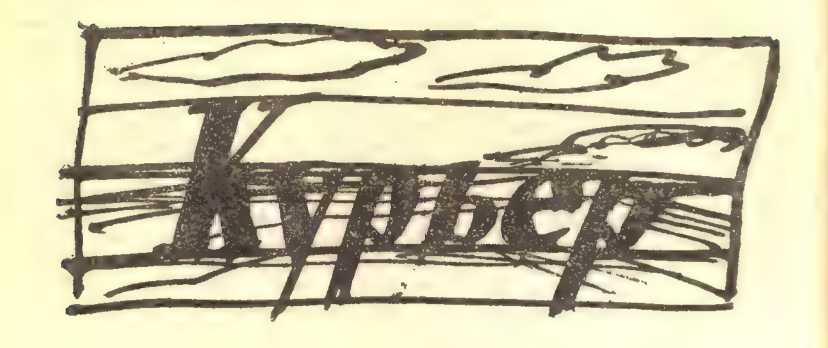
У меня в жизни был не один случай убедиться, что так оно и есть.

Но главное, вспомним платоновскую притчу, путь вверх действительно труден. По нему не идут толпой. Зато каждый спутник здесь поистине бесценен. Я всегда тянулся к людям, которые нечто в этой жизни любят больше, чем себя, которые готовы отказаться от догмы, даже если они срослись с ней душой и опасность отказа сравнима с опасностью для жизни. Мой читатель.

Однако сегодня я благодарен всем вам — как писавшим мне, так и хранившим молчание, как счастливо найденным единомышленникам, так и тем, кто не боялся высказать несогласие. Конечно, угнетало иногда полное непонимание, но это бывает и между двумя людьми, что же говорить о нашем случае.

Прощаясь, люди, как правило, говорят обо всем понемногу и ни о чем в отдельности. Это условие жанра я, кажется, исполнил вполне. Но я помню и о том, что прощание не должно быть долгим. Поэтому прервемся, читатель, на полуслове. Провожающих уже просят выйти из вагона. Тем более, я надеюсь, что встреча эта не последняя. Во всяком случае, если ты этого пожелаешь. Поэтому — прощай, Прохоров, и — до новых встреч, читатель!

Александр СКОКОВ



РАССКАЗ

1

Перед сменой, когда Лариса Евдокимовна поднималась по лестнице из раздевалки в цех, ее нагнала Валентина, варщица сиропа, подруга стародавняя, и ужаснулась:

— Ларка, что с тобой! Ты вся на лицо черная!

Лариса Евдокимовна, придерживаясь за перила, тяжело одолевала бесконечные ступени.

— Опять не спала ночь? Что ты вытворяешь над собой? Смотри, перекосит лицо или обезножишь. И ничего ты ей, дурочке, не докажешь.

Оставалось минут семь. Лариса Евдокимовна едва успела принести ведро воды, распечатала стопку клейкой бумаги и подтянула к конвейеру штабель картонных коробок.

По звонку пустили конфетную машину, загремел транспортер, и вот уже первый вес съехал по желобу в подставленную коробку. Теперь только поворачивайся: готовь коробки, убирай наполненные конфетами, подставляй порожние. Не успела — конфеты ухнут под ноги и будешь до обеда их месить. Конвейер из-за тебя не остановят.

Вчера она поклялась себе, что ни ногой туда больше, хватит выслеживать их, как ищейка. Но вечером стало невмочь лежать одной в постылой пустой квартире.

Чешский, с жесткими сиденьями трамвай долго вез ее через весь город в сторону турбазовской рощи, потом от кольца она шла вниз по пустынной улице мимо бани, госпиталя и в крайнем от рощи переулке нашла этот трухлявый забор с зеленой калиткой.

Дом таился в темноте за виноградником, здесь же, у самой калитки, приткнулся односкатный сарай, глухой стеной к изгороди, приспособленный под летнее жилье. Старухи с окраины сдают такие «хоромы» поступающим в институт.

Осень началась ранняя, только и спать Наташке с ее бронхитом в этой сырости, холоде... Весной с таким трудом вырвала путевку на фабрике, отправила ее в санаторий — на свою голову, там она и познакомилась с этим хромым.

Лариса Евдокимовна приблизилась к самому забору: за тонкой стеной из горбылей слышался картавый голос дочери, и вроде как потрескивало сало на сковородке...

У крыльца за виноградником вдруг вспыхнул свет, запищала дверь, и в соседнем дворе подала голос взлайчивая собачонка.

Лариса Евдокимовна, отпрянув от забора, пошла по переулку, потом вверх мимо белой стены госпиталя и дальше от трамвайного кольца — пешком через весь ночной тихий город. До утра теперь все равно не заснуть.

Приступ обиды на дочь сменился жалостью. Дурочка! Что она нашла в этом проходимце? Неужели вместе с внешним сходством передалась дочери и материнская несчастная судьба?

Знал бы кто ее жизнь... По глупости, в девятнадцать лет, выскочила замуж, родила дочь. Оказался такой негодяй, получил срок за драку. Вернулся еще хуже, мучил, пугал ее и Наташку, пока не развелась. Билась с Наташкой одна, получила от фабрики квартиру, обставила, все, как у людей. Вырастила, пристроила в институт, скопила по страховке на свадьбу тысячу. Только-только пошла жизнь, и вот неизвестно кто, какой-то гастролер, перекати-поле... Хромой, низкорослый, с поганым портфельчиком, в замшевой кепочке, лет на десять старше Наташки... Лариса Евдокимовна не поверила своим глазам, когда впервые увидела его. Выследила еще раз — Наташка снова была с ним.

И после твердого приказа: выбирай — мать или этот хромой — дочь вторую неделю не ночевала дома. Однажды появилась днем, взяла конспекты, учебники, кое-что из одежды и снова пропала. Лариса Евдокимовна ночами не смыкала глаз, только задремывала — наплывали всякие ужасы. Днем все качалось в глазах, тягостно ломило под лопаткой и по телу высыпали пятна, вроде лишая.

Сегодня утром начистила кастрюльку картошки, оставила на виду банку шпрот, в холодильнике сосиски. Что она там ест? Кефир, пирожки? А ее головные боли и бронхит? Небось, шатается с ним в кино, лекции пропускает...

От соседей старухи, владелицы сарая, Лариса Евдокимовна узнала, что объявился он тут с весны, нигде толком не работает. Что это за работа для мужчины — рассыльный, курьер? Раз в неделю везет бухгалтерские документы в дру-

гой город и болтается потом до следующей поездки. Чему Наташка научится от него? А если еще...

Она держала раскрытый ящик под желобом, вся в своих мыслях, не слыша, что конвейер уже гремит. Порвалась лента на транспортере.

Не поднимая головы, прошел со своей сумкой к месту поломки маленький шорник Адамыч. Вскоре появилась Валентина с двумя кружками какао.

Штабель картонных коробок закрывал их, пристроившихся с кружками какао на подоконнике. По цеху, из края в край, порхали под потолком воробьи. Внизу за окном, сметая листья, шоркала метла. Только теперь Лариса Евдокимовна заплакала.

— За что мне такое наказание? Откуда его принесло? Кто бы знал, как я растила ее... Теперь шатается с ним, как бродяга, по сараям.

Валентина намазала шоколадным маслом батон.

— Не убивайся, что ей, три годика?

— Да какой у нее ум? Ветер в голове. А он и рад, нашел дурочку. Я плесну ему кислотой. Мне обещали пузырек.

— Откуда ты знаешь, какой он? Что ж, что старше ее...

— Замолчи! Не хочу слушать. Он дебил!

— Я тоже, когда моя уехала, думала, с ума сойду. В семнадцать лет, в чужой город, знакомых ни души. А теперь пишет...— Валентина достала из кармана халата листок, который, наверно, уже читала другим фасовщицам.— Вот «...Мамочка, не беспокойся, я и не думаю об этих мальчишках. Так я сама себе вольный казак. Одна в группе выскочила замуж, теперь учится плохо. Беспокойся, думай о нем, давай на пиво, табак. В комнате со мной хорошая девочка, деревенская, картошкой и салом мы обеспечены. Хожу с ней на курсы макраме. Приеду на каникулы — свяжу тебе филина...» Видишь, покрутилась там одна, стала рассудительная, как старуха. Не изводи себя, меньше злись...

Транспортер тронулся, Лариса Евдокимовна потащилась к себе, оставив на подоконнике не тронутыми батон с шоколадным маслом и какао.

Скоро картонные коробки кончились, привезли фанерные ящики. Ее мысли снова были там, возле зеленой калитки, она ненавидела и забор, и сарай, и весь тот засыпанный угольным шлаком переулок.

В конце смены лаборантка, как всегда, проверила ящики на вес. На килограмм больше! Остановили конвейер, позвонили мастеру. Поднялся шум.

— Евдокимовна! — кричала со слезами мастер, с утра задерганная скандалами и неполадками.— О чем думаешь? Столько лет на этих тянучках! В деревянные фасуем на кило меньше, чем в картонные. Ребенок заучит!

Лариса Евдокимовна сама не понимала, как случилось такое, не переключила автомат на новый вес. И теперь два штабеля фасовать снова.

После смены помогали ей все фасовщицы и шорник Адамыч. Он открывал ящики, а фасовщицы сыпали конфеты на транспортер и помогали затаривать.

Из цеха Лариса Евдокимовна вышла разбитая, не чуя ног, и хотя сегодня меняли халаты, зайти в прачечную уже не было сил. Адамыч сам отнес ее халат и догнал во дворе.

Весь двор, крыши склада и кочегарки устилали снятые холодами желтые листья. Возле склада грузчики бросали с машины на тележку большие мешки с иностранными клеймами, пахло кофе...

— Не мучай себя, как-нибудь уладится.— Адамыч высыпал ей в карман горсть изюма в шоколаде.— Ты меня не слышишь, что ль?

Обычно шорник провожал ее с трамвая, иногда она брала его в магазин тканей или в галантерейку, но теперь никого не хотелось видеть рядом с собой.

И одной было не лучше.

2

Сложив в спортивную сумку книги, чистое белье, Наташа увидела на плите кастрюльку с начищенной картошкой, но с минуты на минуту мать могла вернуться с фабрики и, кроме того, в шесть им с Мишей надо было быть на вокзале.

Миша заколачивал старухе посылочный ящик. На керогазе у двери готовилось мясное кушанье с кинзой и петрушкой.

— Наташенька, что я добыл! Такой кусочек — и на гуляш, и на шкварки!

Старуху он тоже позвал к ужину.

— Максимовна, что вы все одна да одна? Нельзя человеку самому с собой столько разговаривать.

Старухин единственный сын завербовался на Север, в Ямбург, и теперь днями она укоряла его — бросил на произвол мать, а ей, может быть, и жить-то осталось год-другой. Ни сочувствия в сердце, ни жалости.

Старуха ела гуляш, и слезы сбегали в ложку. Если бы у нее был такой заботливый, ласковый сын...

...Ехали в общем вагоне, Наташа сидела у окна. Лесопосадки, темнеющее небо, желтая стерня, акация возле будки обходчика, женщина в мужском пиджаке, что-то кричащие ребятишки — все летело в одном неостановимом счастливом потоке.

Миша прижимал ее к себе, такую доверчивую, родную, полный сил на долгую жизнь,— еще совсем недавно истощенный болезнью, бессильный выбраться из нее... Если бы его душа не услышала зов, не откликнулась, не согрелась любовью — что было бы с ним?

...Зимой его ставили дежурить в ночь. Во вторую смену электриков меньше дергали, а у него с ногами становилось все хуже и хуже. Собрав в чемоданчик инструмент, провода, липкую ленту, он медленно брел между станков, шаркая ботинками по бетону, а еще предстояло одолеть скользкую наледь между цехом и мастерской.

В щитовой, в двух шагах от сетки, ограждающей рубильники, он сидел один за крашеным столом, и одиночество подвигало его к избавительной мысли...

На вокзале, с пальмами в кадках, несмотря на глубокую ночь, читали мятые газеты, стоя ели в буфете борщ, мучили со скуки безголосую гитару.

Им предстояло скоротать остаток ночи в зале ожидания за стеной автоматической камеры хранения, рядом с неким ночлежником, крутившимся на скамье с боку на бок. Устраиваясь уютнее, он накрывался плащом, поджимал ноги, вытягивал их, мостил под голову пиджак и вдруг брякнулся со скамьи на пол.

Миша вскочил, подхватил его под руки и помог сесть.

— Вы не ушиблись?

— Ничего, ничего...— успокаивал его ночлежник, потирая коленку.— Никак не заснуть. Старые кости не любят досок. У вас тоже нет пристаница?

— Нам только до утра. А вы кто?

— Я человек, который никому не причинил зла. Зовут меня Кирьян Николаевич.— Под защитой иссеченного морщинами, как панцирь черепахи, лба жили уступчивые, склонные к пониманию глазки.

— И давно вы живете здесь?

— Третью ночь мучаюсь.

Когда-то он, печальный вдовец, ехал из Бугульмы к брату в этот теплый городок в крепкой надежде встретить здесь свою старость. Не ужились — обоюдная вина. У обоих не нашлось великодушия.

Последние годы Кирьян Николаевич обитал в общежитии птицекомбината, возил на тракторной тележке отходы забойного цеха, птичий помет на поля подсобного хозяйства. Потом, уже на пенсии, на этом подсобном вязал веники, сторожил бахчу. И вот возвращается без всякой радости, неизвестно к кому, в свою Бугульму.

— Я никому не причинил зла. Характер у меня покладистый... Но я несчастлив. — Кирьян Николаевич взял Мишу за руку как слепец поводыря.— Возьмите меня с собой. Вы счастливы. Я вижу по глазам... Моя скучная жизнь как болезнь, а долгая болезнь — верная смерть.

На вокзале в день отъезда его обокрали, теперь он спал здесь, ожидая, пока ему не выпишут справку, или воры, сжалившись, не подкинут ненужные им документы.

Наташа лежала на скамье, положив голову Мише на колени, и над ее сном витал кроткий вкрадчивый голос:

— Совсем не случайно, Мишенька, что мы встретились...

В семь часов они завтракали вместе в привокзальном кафе, ничто не могло омрачить настроения — ни бессонная ночь, ни пасмурный день, ни обморочная муха, упавшая старику в чай и отпущенная на свободу.

В девять Миша входил в текстильторговскую контору, обитель дам — и молодых, и преклонного возраста, и все они тянули его на минутку к себе.

Строгая Калерия Михайловна, которую он и сегодня просил пораньше отпустить его, отрезала, как всегда: «Никаких раньше, продержу до шести. Потому что я сволочь». Но он знал ее вовсе не такой. Это она добыла ему и прополис, и путевку на лечение.

— Миша, а где Наташенька?

— На вокзале с одним старичком встретились, повел показать ей город.

— Рискованный ты. Может, он какой прощелыга... Ты что, сегодня без палочки?

— Да, хожу так. Выбросил ее. И таблетки все тоже...

Кирьян Николаевич в это время вывел Наташу из автобуса на кольце. Перед ними был выгон и внизу ручей, заросший серыми камышами. За ручьем, вверх по склону, тянулось поле подсолнечника с будыльником без шляпок, дальше начиналась брошенная бахча с высохшими, крепкими, как проволока, плетями и маленькими дыньками в бурьяне — с виду зеленые, а на вкус сладкие-сладкие.

Бывший сторож привел девушку к хатенке, единственной на этом склоне, где он не одну ночь тосковал в одиночестве, под верещанье сверчков, плутая отыскивающим взглядом по звездной пустоши.

— И вы жили тут один?

— Один, Наташенька. Была у меня собачка, Пушок. Но этого мало для человека...

На этом брошенном поле с торчащим будыльником кукурузы и подсолнечника Наташа думала о матери: что это за любовь, если от нее ни счастья, ни радости, только страх, озлобление, страдание. Рядом с Мишей, с этим обворованным стариком ей жилось совсем по-другому и все вокруг было другим, и сам воздух, и небо.

С дыньками в сетке, с букетом поздних ноготков они вернулись на вокзал. В милиции старику отдали документы, сделав внушение, чтоб впредь не ротозейничал.

Миша взял три билета, попутно купил в привокзальном магазинчике на ужин хлеба, помидор, банку сардин...

Ночью они шли с поезда через спящий город в сторону турбазовской рощи. Кирьян Николаевич всматривался в незнакомые дома, отставая от своих покровителей. Лампочки попадались редко, мостовые в переулках скрывала темнота, но в нем самом было так светло, как будто весь век жил в тесном, темном курятнике и вот только вошел в просторный дом.

Именно так и было, в себе самом он не жил ни одной минутки...

Лариса Евдокимовна поджидала на лавочке на другой стороне, наискось от трухлявого забора с зеленой калиткой. Она появилась здесь с вечера. Перед зеленой калиткой лежала куча клещевины и старуха корзиной носила топливо во двор. Потом едкая вонь поползла по переулку — старуха затопила печь. И хотя вечер перешел в ночь и труба уже не дымила, в воздухе чувствовался приторный запах.

Наконец в переулке, со стороны госпитальной стены, послышался говор. Наташа, ее хромой и еще кто-то сзади спотыкался.

Надо было встать и, как задумала, встретить их, но силы вдруг покинули. Только сердечная боль и немощь опустошения.

Полуночники направились к сарайчику, цокнул замочек, упал какой-то предмет...

В переулке стало светлеть. Близко, за турбазой поднялась луна, отчетливо видная вся со своими пустынями и нагорьями. Повсюду — и там, и здесь, простирался один мир без счастья, тепла, утешения...

Дорога от белой стены госпиталя привела ее вниз, к озеру. Среди тополей, вразброс, стояли пустые дома турбазы с высокими кровлями, вроде вигвамов. На пляже, в летнем павильончике, она сидела до утра.

Утро было затяжное, пасмурное, шуршали листья в кустах шиповника. На том берегу, в переулке, над черепичной крышей тянулся из трубы желтый дым, казалось, и здесь пахнет клещевиной...

Теперь, когда все перегорело в душе, она знала — счастье живет и приходит к нам, но мы не узнаем его в лицо, принимая за счастье и месть, и гнев, и ненависть.

Она открыла сумочку, достала пузырек и кинула его в кусты.

Из кустов вдруг выбежала тощая, с отвислыми сосцами собака и, в недоуменье оглядываясь на нее, потрусила по аллее в сторону турбазы, к островерхим вигвамам.



Тур Шестнадцатый: ХИТ-ПАРАД «АВРОРЫ»

Как вы помните, в Тринадцатом туре «МЭ» мы предложили читателям назвать двадцатку лучших альбомов отечественной рок-музыки за все годы, как выпущенных фирмой «Мелодия», так и самодеятельных. К концу июля «МЭ» получил 220 читательских вариантов этого хит-парада, и Наталья Агеева, сотрудница журнала «Рокси» и секретарь «МЭ», уселась за их статистическую обработку. Параллельно мы предложили составить такой же список ведущим рок-журналистам страны и получили еще 38 вариантов, которые сводил в один хит-парад непосредственно рок-дилетант. Надо сказать, что статистическая обработка вариантов, как читательских, так и журналистских, оказалась занятием увлекательным, но трудоемким. Разнобой в вариантах царил чудовищный, путаница названий заставляла порой заниматься гаданием на кофейной гуще, вообще, этот процесс был точным отражением того хаоса, который царит в звукозаписи отечественного рока.

Как мы и предполагали, ведущую роль в хит-параде сыграли магнитофонные любительские альбомы, которые сильно потеснили продукцию фирмы «Мелодия». Ввиду того, что в обращении находится огромное количество бутлегов и концертных записей, мы решили ограничиться рассмотрением лишь авторских альбомов групп, сделав исключение для записей «старой» «Машины времени», ибо вклад этой группы в историю нашего рока бесспорен, а авторских альбомов «Машина» не выпускала. Поскольку многие читатели и журналисты называли двадцатку лучших в произвольном порядке, без учета мест, мы подсчитывали лишь число упоминаний того или иного альбома в поступивших к нам вариантах. Попадание альбома в «двадцатку» давало ему один балл. Число этих баллов, набранных альбомами, приводится ниже.

Мы понимаем всю приблизительность и относительность результатов нашего хит-парада. Вероятно, даже рок-журналисты не слышали некоторых интересных альбомов любительских групп, а уж читатели, особенно на периферии, довольствуются тем, что могут достать, поэтому о представительности исходных данных говорить не приходится. Другими словами, составители хит-парадов чаще всего выбирали из того, что им известно, а не из того, что существует на самом деле. И все же даже этот опрос дает некоторое

представление о том, что же слушают любители отечественной рок-музыки, какие альбомы и группы вызывают наибольший интерес.

Приводим список рок-журналистов, принявших участие в нашем опросе, с указанием места жительства и органа, в котором работает журналист (л/о означает «любительский орган»). Список дается по алфавиту.

1. Наталья Агеева (Ленинград, л/о «Рокси»).
2. Феликс Аксенцев (Минск, газета «Знамя юности»).
3. Леонид Баксанов (Свердловск, л/о «Марока»).
4. Нина Барановская (Ленинград, л/о «Рокси», «МЭ»).
5. Алексей Беликов (Новосибирск, л/о «ИД»).
6. Александр Бределев (Архангельск, л/о «Северок»).
7. Юрий Будько (Минск, журнал «Парус»).
8. Андрей Бурлака (Ленинград, л/о «РИО», «МЭ»).
9. Григорий Волов (Архангельск, л/о «ТИФ»).
10. Андрей Гаврилов (Москва, фирма «Мелодия», «МЭ» и др.).
11. Анатолий Гуницкий (Ленинград, л/о «Рокси», радио, «МЭ» и др.).
12. Сергей Гурьев (Москва, журнал «Юность», л/о «Урлайт»).
13. Вадим Демидов (Горький, л/о «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости»).
14. Дмитрий Десятерик (Днепропетровск, л/о «Воляпюкъ»).
15. Татьяна Ежова (Киев, л/о «Гучномовець»).
16. Николай Ежов (Киев, л/о «Гучномовець»).
17. Александр Житинский (Ленинград, «МЭ» и др.).
18. Александр Зарубин (Симферополь, газета «Крымский комсомолец»).
19. Александр Калужский (Свердловск, л/о «Свердловское рок-обозрение» и др.).
20. Алексей Казимиров (Горький, л/о «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости»).
21. Кирилл Кобрин (Горький, л/о «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости»).
22. Андрей Кузнецов (Таллин, л/о «Про рок»).
23. Светлана Кукина (Горький, л/о «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости» и др.).
24. Вячеслав Лысенко (Новосибирск, л/о «Стебель»).
25. Николай Мейнерт (Таллин, Эстонское радио).
26. Петр Москвичов (Ростов-на-Дону, л/о «Приложение неизвестно к чему»).
27. Валерий Мурзин (Новосибирск, л/о «Тусовка»).
28. Константин Рублев (Новосибирск, л/о «Тусовка»).
29. Михаил Садчиков (Ленинград, газета «Смена»).
30. Илья Смирнов (Москва, л/о «Урлайт»).
31. Александр Старцев (Ленинград, л/о «Рокси», «МЭ»).
32. Игорь Степанов (Челябинск, л/о «СЭЛФ»).
33. Сергей Степанов (Тула, газета «Молодой коммунар»).
34. Петр Сытенков (Ленинград, «МЭ»).
35. Артемий Троицкий (Москва, журнал «Ровесник» и др.).
36. Виктор Тягнибедин (Воронеж, л/о «Рок-вестник»).
37. Сергей Тяпкин (Саратов, л/о «Буги»).
38. Дмитрий Шавырин (Москва, газета «Московский комсомолец»).

Ниже публикуются два списка альбомов, составленных читателями и журналистами. Интереса ради, мы расширили списки до 35 наименований. Приводятся последовательно: место, занятое альбомом, название группы, город, название альбома (в скобках — год выпуска альбома), количество баллов, набранное альбомом из 220 опрошенных читателей и 38 опрошенных журналистов соответственно.

ХИТ-ПАРАД ЧИТАТЕЛЕЙ (220 анкет)

1. НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС (Свердловск): «Разлука» (86) — 156
2. АЛИСА (Ленинград): «Энергия» (86) — 153
3. АКВАРИУМ (Ленинград): «Радио Африка» (83) — 137
4. АЛИСА (Ленинград): «Блок Ада» (87) — 133
5. КИНО (Ленинград): «Группа крови» (88) — 114
6. ЗООПАРК (Ленинград): «Белая полоса» (84) — 101
7. ДДТ (Уфа): «Периферия» (84) — 100
8. ДДТ (Уфа — Москва): «Время» (85) — 100

9. МАШИНА ВРЕМЕНИ (Москва): «Реки и мосты» (87) — 93
10. КИНО (Ленинград): «Ночь» (85) — 87
11. АКВАРИУМ (Ленинград): «Дети декабря» (85) — 85
12. АКВАРИУМ (Ленинград): «Треугольник» (81) — 82
13. АКВАРИУМ (Ленинград): «Табу» (82) — 73
14. КИНО (Ленинград): «45» (82) — 73
15. АКВАРИУМ (Ленинград): «Акустика» (82) — 72
16. ТЕЛЕВИЗОР (Ленинград): «Отечество иллюзий» (87) — 66
17. АКВАРИУМ (Ленинград): «День серебра» (84) — 65
18. АКВАРИУМ (Ленинград): «Синий альбом» (81) — 60
19. ЗООПАРК (Ленинград): «Уездный город N» (83) — 57
20. ТЕЛЕВИЗОР (Ленинград): «Шествие рыб» (85) — 57
21. МАШИНА ВРЕМЕНИ (Москва): записи до 1980 г. — 55
22. КИНО (Ленинград): «Это не любовь» (85) — 54
23. КИНО (Ленинград): «Начальник Камчатки» (86) — 53
24. АКВАРИУМ (Ленинград): «Электричество» (81) — 51
25. КРУИЗ (Москва): — «Круиз» (85) — 51
26. ВОСКРЕСЕНЬЕ (Москва): «Зеркало мира» (84) — 48
27. ПИКНИК (Ленинград): «Иероглиф» (88) — 48
28. ЧЕРНЫЙ КОФЕ (Москва): «Переступи порог» (88) — 42
29. ДДТ (Ленинград): «Оттепель» (87) — 39
30. СТРАННЫЕ ИГРЫ (Ленинград): «Смотри в оба» (84) — 38
31. БРАВО (Москва): «Браво» (87) — 37
32. АРИЯ (Москва): «Герой асфальта» (87) — 32
33. ЗООПАРК (Ленинград): «Сладкая N и другие» (80) — 32
34. Давид Тухманов (Москва): «По волне моей памяти» (74) — 31
35. ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК (Ленинград): «Гласность» (87) — 30

ХИТ-ПАРАД ЖУРНАЛИСТОВ (38 анкет)

1. НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС (Свердловск): «Разлука» (86) — 34
2. АКВАРИУМ (Ленинград): «Треугольник» (81) — 25
3. АКВАРИУМ (Ленинград): «Радио Африка» (83) — 24
4. КИНО (Ленинград): «Группа крови» (88) — 24
5. АКВАРИУМ (Ленинград): «Акустика» (82) — 23
6. АЛИСА (Ленинград): «Энергия» (86) — 22
7. ТЕЛЕВИЗОР (Ленинград): «Отечество иллюзий» (87) — 21
8. АКВАРИУМ (Ленинград): «Табу» (82) — 20
9. ЗООПАРК (Ленинград): «Уездный город N» (83) — 19
10. ДДТ (Уфа): «Периферия» (84) — 17
11. АКВАРИУМ (Ленинград): «Синий альбом» (81) — 14
12. ЗООПАРК (Ленинград): «Белая полоса» (84) — 14
13. КИНО (Ленинград): «45» (82) — 13
14. ЧАЙ-Ф (Свердловск): «Дерьмантин» (87) — 13
15. АКВАРИУМ (Ленинград): «Электричество» (81) — 12
16. КИНО (Ленинград): «Начальник Камчатки» (85) — 12
17. ДДТ (Ленинград): «Оттепель» (87) — 12
18. АЛИСА (Ленинград): «Блок Ада» (87) — 12
19. АКВАРИУМ (Ленинград): «День серебра» (84) — 11
20. ДДТ (Уфа — Москва): «Время» (85) — 11
21. Александр Башлачев (Ленинград): «Время колокольчиков» (86) — 10
22. КИНО (Ленинград): «Ночь» (85) — 9
23. АКВАРИУМ (Ленинград): «Дети декабря» (85) — 9
24. ЗООПАРК (Ленинград): «Сладкая N и другие» (80) — 8
25. СТРАННЫЕ ИГРЫ (Ленинград): «Смотри в оба» (85) — 8
26. СТРАННЫЕ ИГРЫ (Ленинград): «Метаморфозы» (83) — 8
27. Давид Тухманов (Москва): «По волне моей памяти» (74) — 8
28. Чернавский/Матецкий (Москва): «Банановые острова» (82) — 8
29. ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК (Ленинград): «Гласность» (87) — 8
30. Настя Полева (Свердловск): «Тацу» (87) —7
31. ЗООПАРК (Ленинград): «LV» (82) — 7
32. УРФИН ДЖЮС (Свердловск): «15» (82) — 6
33. ОБЛАЧНЫЙ КРАЙ (Архангельск): «Ублюжья доля» (86) — 6
34. Александр ГРАДСКИЙ (Москва): «Сатиры» (87) — 6
35. ЧАЙ-Ф (Свердловск): «Дуля с маком» (87) — 6

Я поздравляю группу «Наутилус Помпилиус» с победой в нашем хит-параде, а многочисленных любителей рок-музыки — с наступающим 1989 годом!

Рок-дилетант Александр Житинский



Вадим КАССИС

КРАХ «ПРОЕКТА М»

Милитаристские круги Японии в годы второй мировой войны форсированными темпами вели работы по созданию атомной бомбы. Об этом рассказал видный физик, профессор Киотского университета Масахиро Исида. В частности, один из засекреченных центров вел исследования по расщеплению урана-235.

Из газет

Кадзи пребывал в смятении.

Только что профессор Мисима безоговорочно заявил, что ему, молодому ученому с перспективами на рост и успешную службу на благо Физико-химического научно-исследовательского института, придется покинуть столицу и перебраться в загородную лабораторию.

Да, профиль работы останется прежним. Да, оплата несколько поднимется. Но не сразу. На какое время все эти перемены? Ну, на год, а может быть, и на два, а может быть, и на пять: совершенно новая программа исследований может потребовать и пяти лет. Так что тут ничего определенного сказать нельзя...

Кадзи молча смотрел на квадратное лицо профессора, с которым за три года работы впервые встретился вот так — с глазу на глаз.

Вспомнилось: в молодости Мисима-сенсей * проходил практику под руководством знаменитого датчанина Нильса Бора — и с той поры стал одним из видных физиков-атомщиков Японии. А что такое ядерная физика — говорить долго не надо. Коллега Кадзи, этот выскочка Уэда, уверяет, что ядерные испытания суперпрестижны и что если их результаты попадут на благодатную почву, человечество сразу шагнет на много столетий вперед. Ну, а если этими секретами завладеют военные, тогда...

Журнальный вариант

* Сенсей — почтительное обращение к старшим *(здесь и далее примечания автора).*



Рисунок Юрия Чигирева

Впрочем, пусть Уэда проповедует свою веру. У Кадзи на сей счет собственное, прочно сложившееся мнение. Ему ближе дух Ямато *!

Утратив на миг нить монотонных наставлений шефа, Кадзи силился высветить в памяти промелькнувшее в речи Мисимы-сенсея географическое название места, в котором ему, Кадзи, отныне придется работать. Кажется, сенсей упомянул Китадзаву! Да, да, конечно! Именно Китадзава — с предупреждением о том, что это название никто, кроме Кадзи, не должен знать.

— Разумеется, в стенах новой лаборатории вы увидите и некоторых других своих коллег. И усвойте, Кадзи-сан, одну мудрость: дисциплина плюс состояние духа — успех дела. У меня все.

Кадзи учтиво поклонился и вышел вслед за профессором из кабинета, настроенный на меланхолический лад.

Когда они шли по узкому, как пенал, коридору, им повстречался человек, которого все недолюбливали. Обладателя черного ежика на голове и объемистого живота звали Касуми-сан. На вопрос о роде его занятий он любил при встрече даже с незнакомым человеком отвечать примерно так: «Да всякие пустяки! Но самое главное в моих занятиях то, что меня регулярно обходят в повышении по службе...» Изредка комиссар Касуми появлялся на людях в полицейском мундире. А снова облачившись в гражданское платье, исчезал надолго в неизвестном направлении. Возвращаясь из поездок, он день-другой настраивался на нужный лад с помощью виски и саке — и тогда в ночном клубе от него можно было услышать немало занятных историй...

Слепые корпуса новых лабораторных помещений, в которые Уэда перебрался с несколькими доверенными студентами, были собраны из блоков толщиной в сорок-пятьдесят сантиметров, не пропускавших внутрь посторонних звуков. Подслушать, что творится за столь мощным барьером, тоже не представлялось возможным.

Уэда медленно мерил ногами гравиевую дорожку от проходной до забора из колючей проволоки. Вдоль тропинки цвели кусты хаманаси — неприхотливого растения, напоминавшего дикую розу с острыми шипами. «Осенью они покрываются сплющенными, свекольного цвета, семенами», — почему-то подумал Уэда, словно увидев разноцветную картинку из книжки далекого детства.

Основания к тому, чтобы оказаться в местечке Китадзава, у молодого физика имелись: его эрудиция, усидчивость, фанатизм монаха-аскета в науке, но, пожалуй, главное — его недавняя стажировка в Соединенных Штатах, в Беркли. Там, за океаном, в Калифорнийском университете, Уэда легко сошелся с коллегами из Соединенных Штатов и Западной Европы, получил приличный багаж знаний, каким-то особым чутьем ощутив общее направление развития ядерной физики.

Он многое увидел, ко многому прикоснулся, — но это было всего лишь робким началом на пути покорения энергии ядра.

Энрико Ферми — нобелевский лауреат 1938 года — доказал, что с «физической точки зрения» создание атомной бомбы является

---

* Ямато — так называлась Япония в древности. В стране многие были заражены шовинистическими идеями «превосходства расы Ямато» над всеми другими. «Дух Ямато» — это, по сути, дух милитаризма.

возможным. И хотя вопрос о самом создании атомной бомбы в техническом отношении еще не был решен, он уже вызвал у ученых озабоченность, если не ужас. «Открытие века» вело к леденящей сердца «опасности века».

Уэда в душе разделял эти опасения. Разделял искренне. Он долго размышлял над последствиями поступка нескольких известных ученых, которые летом 1939 года посетили великого Эйнштейна на его даче в Пеконике на Лонг-Айленде. Визит носил не случайный или сугубо личный характер. На карту ставилась судьба планеты! Возникло предложение направить письмо президенту Рузвельту, разъяснив в нем, что расщепление ядра можно использовать для создания атомной бомбы. И что создай такую бомбу потенциальный враг...

— ...Что же изменилось? — злорадствовал Кадзи. — Эйнштейн подписал письмо лишь за месяц до начала второй мировой войны. В Белый дом его доставили только к середине октября...

— Хотя бы то, уважаемый коллега, — парировал Уэда, — что ведущие в нашей области ученые добровольно отказались от публикаций своих исследований в печати. Вам известны их имена.

— Но вы же знаете, что мы находимся здесь, в Китадзава, не для того, чтобы прятаться от правды. Нас собрали сюда не для чего иного, как для разработки и создания урановой бомбы: это ведь вовсе не секрет для сведущих людей! Я уверен, что Мисима-сенсей уже получил приказ о такой работе и что скоро этот приказ будет объявлен всем нам. Так что нам — именно нам! — предстоит совершить для Японии великое дело: расщепить уран-235!..

— Да, да, конечно, — отвечал Уэда. — Смею заметить, однако, что воинствующая эйфория — это безумие. А оно никогда не приводило к успеху. Разве — к печали и горестям...

— Хотелось бы спросить вас, в таком случае: для чего вы, Уэда-сан, путешествовали в Соединенные Штаты и какова ваша роль здесь, в Китадзава?

— Я — ученый, а не член кокурюдан *. Строевым занятиям на плацу я предпочитаю лабораторные. Если только они приносят пользу людям...

На американскую столицу давно опустился вечер. Светились окна.

— Завершая наше совещание, господа, — мрачно проговорил председательствующий, — я хочу коснуться неприятного и тревожащего нас вопроса.

В просторном старомодном Голубом зале с тяжелыми шторами и громоздкими неуклюжими креслами воцарилась тишина. Военные и гражданские чины, сидевшие за столом, сосредоточенно взирали на человека в ладно сшитом, облегающем поджарую фигуру сером костюме, занимавшего председательское кресло. Это был генерал Уильям Донован.

В кругах вашингтонской элиты Донована знали хорошо. Еще в 1933 году он баллотировался на пост губернатора штата Нью-Йорк от республиканской партии. Политик по природе, завзятый антикоммунист и сторонник тотального шпионажа как главного

* Кокурюдан — «Общество черного дракона» — ультранационалистическая реакционная организация, возникшая в 1901 году. Ее цель — внешняя экспансия Японии, лозунг: «Только железная рука военных может привести Японию к победе». Распущена в 1946 году.

средства «психологической войны», Донован в начале второй мировой войны приступил к созданию американской спецслужбы.

— Суть его вот в чем, — мрачно произнес Донован. — В свое время в Штаты приглашены были для стажировки молодые японские ученые. Теперь все мы несем ответственность перед собственной страной за этот необдуманно широкий жест.

— Хотелось бы разъяснений на сей счет, генерал...

— Вот, скажем, — Донован заглянул в свои записи, — один перспективный физик. Фамилия — Уэда. Стажировался в Калифорнийском университете. Мы, к сожалению, в неведении: что́ он вывез в своем багаже, — Донован постучал кончиками пальцев себя по лбу. — Но сегодня он работает в секретной лаборатории ядерной физики. А там — это стопроцентно! — ломают голову над созданием японской атомной бомбы. Не стану обременять вас рассуждениями о возможных последствиях этих изысканий японцев. Однако заинтересованных лиц прошу через двадцать четыре часа представить конкретные соображения по предотвращению опасных экспериментов в Токио или Осаке...

«Соображения», о которых говорил в Голубом зале Донован, не заставили себя ждать. Первым откликнулся генерал Честерфилд, который, наведя справки в своем ведомстве, позвонил Доновану, предложив без лишних церемоний убрать Уэду.

— Способ? — спросил Донован.

— На примете есть одна девица. Ее мать — японка из низкопробного варьете. Отец — кореец, уголовник. Словом, доченька — от весьма импозантного брака. Правда, хороша собой.

— Где же вы ее зацепили?

— Некоторое время она болталась в Вашингтоне. Вела себя смело, я бы даже сказал, нагло. Как-то, представьте, оказалась на крупном дипломатическом рауте.

— Каким образом?

— Ее притащил с собой один немец — советник германского посольства. Мы ее перекупили. Сейчас работает на нас в Гонконге. Перебросить в Токио на самолете — ничего не стоит.

— Я восхищен, генерал. Ну, а каков дальнейший план действий, если, конечно, это не секрет? — Донован негромко засмеялся: у его подчиненных не могло быть секретов от него.

— План, если согласитесь, такой. У нее — хорошо разработанная легенда: она — дальняя родственница шефа лаборатории профессора Мисимы. Вот мы, с помощью друзей, и внедрим ее туда на роль, скажем, уборщицы или буфетчицы: знаете — ученым всегда нужен горячий чай, сандвичи...

— Хорошо. Далее?

— Поручим ей для начала снюхаться с Уэдой. Пусть пофлиртует с ним. Пусть выяснит, что именно удалось ему вывезти из Штатов. Ну, а выяснив, пусть предложит за его сведения деньги. Японцы на доллары падки. Кроме того, у него наверняка уже будут и какие-то свои новые разработки. Они тоже смогут нам пригодиться.

— А если деньги не пройдут?

— Тогда — шантаж.

— Дело стоящее, но в данном случае — на чем?

— Известно о его пацифистских настроениях. Кроме того, он боготворит Нильса Бора, а тот является другом Советов, не раз

бывал в Москве и даже избран, где-то в конце двадцатых годов, иностранным членом Академии наук красной России...

— Не очень убедительно. Бор велик — Россия его и избрала.

— Тогда можно пойти дальше. Приклеить Уэде ярлык члена «международной коммунистической шпионской организации». Пусть протестует, отмывается! Один такой навет — и его тут же переместят со всеми его потрохами из секретной лаборатории в тюрьму!

— Ну, а если не прибегать к этому растянутому во времени способу дискредитации? Какой тогда может быть вариант?

— Тогда может просто вступить в действие брат этой женщины. Он живет в Токио. Содержит харчевню «Золотой павлин». Это где-то в районе Западной Гиндзы. Парень — лихой, связан с якудза, тамошними гангстерами.

— Только запомните главное, генерал: нам нужен не труп, а материалы. Нужно все, чем он занимается. И — никакого лишнего шума! Это, я полагаю, ясно?

— Разумеется. Его просто угостят пивом. Скажем, «Саппоро»: японцы очень любят этот сорт — «Саппоро». Все будет кончено тихо и благопристойно...

Пружинистой походкой, подтягивая раскисший живот, на котором едва сходился широкий поясной ремень, в проходную будку вошел Касуми.

Вечерело. С гор тянуло прохладой. Отставной служака Гомбэй, потерявший ногу где-то на поле брани в Китае, деловито растапливал хибати *. Касуми замер в созерцательной позе и, едва шевеля губами, щурясь на огонек, процитировал:

— «Цветы — весной, кукушка — летом.
Осенью — луна,
Чистый и холодный снег — зимой»...

...Разумеешь, кто сочинил? Не я, не я. Присваивать чужое — не в моих правилах. Поэт Догэн. Жил такой в... — он хмыкнул, очертил в воздухе круг рукой и закончил: — ...в тринадцатом веке... — Касуми возвращался из своего токийского дома и пребывал в лирическом настроении. — Где ты, Гомбэй-сан, потерял правую ножку, мне известно. Ну, а если ты здесь допустишь промах, сразу лишишься головы!

И Касуми сделал выразительный жест рукой, проведя по шее.

— Да, да, уважаемый Касуми-сан, понимаю, — молвил Гомбэй.

Касуми распустил ремень, чтобы легче было дышать, и умолк, привычно выжидая, когда распиравшие желудок газы пойдут горлом. В свое время он переболел туберкулезом, а теперь приходилось еще все время прибегать и к соде. Как раз сегодня Касуми забрел в небольшую сусию **, где быстро проглотил свой ужин. После еды не обошлось без приступа.

— В ваше отсутствие, — угодливо посмотрел на комиссара привратник, — приняли на работу Юкико-сан. Говорят, дальняя родственница самого профессора.

— Без тебя знаю! — оборвал его Касуми. — Не будь на этом посту меня, так и сидеть бы этой Юкико в сусии да мыть посуду.

— Буфетчицей будет?

— А ты думал — научным сотрудником?

* Хибати — переносная жаровня для обогревания жилья.
** Сусия — харчевня, где подают колобки риса с сырой рыбой, приправленные уксусом и хреном.

— Уж больно хорошенькая...

— Помолчал бы, старый развратник! — буркнул Касуми, перешагнув порог проходной и зашуршав по гравию толстыми подошвами.

Широкоствольная сосна, в иглах которой посвистывал упругий ветер, привольно раскинула свои ветви над ночным садиком. В свете луны домики лаборатории стояли словно отлитые из бронзы. «А Юкико — в самом деле ничего», — подумал комиссар, вставляя ключ в дверной замок с секретом.

Он вошел в кабинет, сбросил с себя грубой шерсти мундир, распустил ремень еще на две дырочки и тяжело опустился в жесткое кресло перед столом. Включил свет — и снова подумал о Юкико.

— Вот привязалась! — скрипнув зубами, пробормотал комиссар...

Почувствовав жжение в желудке, Касуми намеревался было встать и подойти к шкафчику, в котором хранились пакетики с содой, но вдруг зазвонил телефон:

— Вы вернулись? — Касуми сразу узнал голос шефа. — Попросил бы немедленно зайти ко мне...

В кабинете профессора уже сидели Кадзи, Уэда, новый лаборант Яда, кадровик Аокава, начальник секретной части Ханэяма, несколько незнакомых военных чинов.

Касуми поклонился, пристроился у двери на краешке стула. Он так и не успел выпить соды — и его мутило.

Несмотря на поздний час, Мисима выглядел свежим и бодрым. Пенсне в изящной золотой оправе, модный галстук, безукоризненной белизны сорочка.

— Польщен вашим присутствием, — высокопарно выразил казенные чувства шеф. — Приступим. Все — конфиденциально, без протокола.

Касуми сморщился от приступа. В голову лезли какие-то странные мысли. Ему представилось, будто лаборатория имеет как бы два горизонта — мнимый и действительный, реальный и, словно бы, бумажный. Волны бумажной жизни обретают свои законы, в них могут маневрировать свои мастера. Вот, к примеру, кадровик Аокава. Лихой пловец. Ему любая бумажная буря нипочем. Он и сейчас приготовился было что-то записывать, но после замечания шефа о конфиденциальности совещания убрал авторучку.

— Я предоставляю слово нашему уважаемому гостю генералу Ядзиме, — сказал профессор. — Прошу, Ядзима-сан.

— На голове каждого нормального человека растет примерно сто двадцать пять тысяч волос, — неординарность первой фразы гостя обратила в слух присутствующих. — И я, господа, не хотел бы, чтобы кто-то из вас потерял хотя бы один из них. То, что я сейчас вам скажу — тайна из тайн. Поймите меня правильно. А теперь хочу сообщить, что мне как представителю научно-технического управления военно-воздушных сил императорской армии поручено официально объявить вам о прямом участии лаборатории в сверхсекретном «Проекте М»...

Тут взгляд Касуми упал на Кадзи: рот молодого ученого был приоткрыт, глаза, увеличенные линзами очков, казались выползшими из орбит. «Если бы этот физик, — подумалось комиссару, — оказался в стране, где безвкусица карается законом, то за его дикий галстук он был бы сразу приговорен к высшей мере наказания...» До Касуми вновь долетел хрипловатый голос Ядзуми:

— Вашего руководителя мне характеризовать, естественно, нет нужды. В его научном и нравственном авторитете нация не сомневается... Так что, если у господ возникли вопросы, буду рад помочь в их разрешении, — и генерал обвел кабинет взглядом.

— Можно ли узнать, господин генерал, кто еще в стране занимается разработкой урановой бомбы? — разогнул спину Уэда.

— Часть физиков мы планируем разместить в помещении Научно-исследовательского института авиационной техники. А к головной лаборатории, мы уверены, вскоре захотят подключиться доблестные флотоводцы. Данная проблема также остро волнует специалистов из научно-технического управления императорского ВМФ. Ну, и кой-кого еще. Пока об этом говорить преждевременно...

— Мы до сих пор ползаем в потемках, господин генерал, — нарушил тишину Кадзи. — Мы не выходим за рамки теоретических изысканий. Нам необходим уран. Мы прослышали, что есть надежда на наших германских друзей...

Генерал, бросив на Кадзи острый взгляд, загадочно ухмыльнулся:

— Представьте себе такую ситуацию. Японское командование перед авианалетом на Пирл-Харбор радирует американскому командующему базой: «Не хотите ли, сэр, приобрести по сходной цене часть нашей авиации и боевых кораблей, а то они слишком много жрут топлива...» — бескровные губы генерала округлились в улыбке. — Вы понимаете, конечно, что сей пример — парадокс, доведенный до абсурда. Но с его помощью мне хотелось бы ответить на поставленный вопрос. Думаю, никто не станет симулировать непонимание...

— Тогда, простите, как рассматривать японо-германский союз? — удивился Кадзи.

— Одно другому не мешает...

Совещание закончилось. Шеф лаборатории пригласил гостей и сотрудников на дружеский коктейль.

Поднялся и Касуми. Мысли о «Проекте М» его почему-то не волновали. Он думал о другом: «Сейчас должна появиться Юкико...»

Из увольнения (сотрудники лаборатории жили на казарменном положении и частенько прибегали к армейской терминологии) Кадзи возвращался поездом, который медленно тащил дизельэлектровоз.

Кадзи сидел в подслеповатом купе, то вглядываясь в надвигавшиеся сумерки, то погружаясь в сон. Ему чудилось, что он задыхается на дне соленого моря, опутанный липкими щупальцами осьминога. Это чувство омерзения еще долго не покидало физика — даже когда он сошел на убогом полустанке с грязной заплеванной платформой и словно изъеденными проказой строениями. Стоило взглянуть на их нищету, чтобы убедиться: кто здесь родился, вырос, тот уже не покинет этих мест до гроба.

Кадзи переобулся, чтобы легче было подниматься в гору к лаборатории, заменив гета на легкие дзори*. Путь от полустанка до лаборатории был невелик, но мало удобен. Сперва на старотокайдском поезде, затем на паровичке, который по старинке именовали

* Гета — деревянная обувь на подставочках; дзори — легкие сандалии из рисовой соломы.

здесь «чугунной глупостью». Ну, а финальная часть маршрута — четырехкилометровый бросок по горной дороге.

Кадзи миновал храм Каниясу, полюбовался на рощицу камфарных деревьев, обступивших прибежище двух монахов. Зашагал дальше, невольно вернувшись мыслями к проведенным дням увольнения.

Он уже несколько лет не ладил с женой. Знакомство их произошло еще в школьные годы, там и возник у них роман. Фумико долго оставалась стройной, гибкой женщиной. А потом вдруг расплылась, налилась какой-то свинцовой тяжестью. Детей у них не было, и плоские груди Фумико с девственными сосками, когда-то так волновавшие Кадзи, теперь не вызывали у него никакого желания. Зато другие женщины! В них он не знал недостатка, проводя досуг по своему усмотрению: супружеская жизнь для него тут, как и для большинства других мужчин, помехой не являлась. Это и расстроило ученого, когда ему вдруг предложили переселиться для работы в глушь, за пределы привычной столичной жизни.

Сейчас все пришло в норму: непродолжительные визиты в Токио не возбранялись. Минувшие дни совпали с традиционным праздником, что позволило приумножить удовольствие.

В том мире, что остался в Токио, женщины утомились от желаний, которые постоянно и профессионально должны вызывать у себя. Их сердца выхолощены, а в глазах застыли огоньки мрачной, гнетущей скуки и усталости. А здесь — Кадзи огляделся — первозданная природа, покой. Чтобы обрести условную раскованность, тут не надо накачивать себя саке. Все — естественно, даже сказочно.

Но вот насколько естественно то, что они, физики, делают в этой пасторальной тиши? Не обратится ли все это в один прекрасный миг в прах?..

Поздоровавшись лишенным какой бы то ни было интонации голосом с привратником, Кадзи миновал проходную и очутился под фонарем, который отбрасывал бледно-голубые пучки света на пышный, в человеческий рост, куст белых сирахаги *. В окнах кабинета Касуми ярко пылала люстра. За искусственно созданным садиком из мшистых камней, ручейков, водопадиков и карликовых сосен угадывался черный силуэт полутораэтажной железобетонной коробки с тройными стенами — святая святых комплекса. Что скрывается в этой неприступной крепости, толком не мог сказать никто: ключ от нее хранился только у профессора Мисимы.

Мысли Кадзи обратились теперь к его сослуживцам. Почему, подумалось, Уэда уже вырос до доцента, а он, Кадзи, до сих пор — на прежней должности? Ведь по всем законам, в любой уважающей себя фирме женатый человек представляется солиднее, ему больше доверяют. А что касается особого пристрастия его, Кадзи, к женщинам, то разве это порок? Да и кто об этом знает? Вот, скажем, новенькую буфетчицу Юкико-сан он воспринимает как и остальные — на уровне ординарной чувственной заинтересованности... А если подумать, то что́ она, в самом-то деле, собою представляет? Загадка сфинкса...

Казалось, что все дневные заботы Юкико сводились к приготовлению чая, которым она потчевала руководителей лаборатории. Она

* Сирахаги — семейство гвоздичных растений.

носила белоснежную высокую наколку, под которую прятала темные волосы, простенькое кимоно с пестрым оби и таби *. Но однажды Кадзи увидел ее в ином наряде. Был день поминовения усопших. Юкико появилась в холле с пучком волос на затылке, в облегающем платье, подчеркивающем ее бедра и упругий бюст — при всей миниатюрности горничная оказалась не хрупкой сказочной феей, а вполне зрелой привлекательной женщиной. В первые годы замужества жена Кадзи носила такую же прическу «симада», но теперь... Впрочем, зачем сравнивать!..

Однако Кадзи все не мог избавиться от назойливо наползавших мыслей. Конечно же, это было связано с тем, что вечером того дня, когда Юкико появилась в холле в своем новом соблазнительном наряде, Кадзи приметил ее осторожную тень на дорожке, обсаженной горной камелией с шаровыми цветами, уходящей к таинственному железобетонному кубу. Где, интересно, пребывал в тот момент профессор? Не исключено, что горничная подавала ему чай за бронированную дверь. А если причина была иной? Но — какой именно?.. С другой стороны, Юкико, говорят, находится с шефом «Проекта М» просто в родственных отношениях. Тогда в ее внимании к профессору вообще нет ничего удивительного. И все же...

Ответ на все эти вопросы пришел не сразу.

Программа исследований в лаборатории Китадзава шла своим ходом в обстановке строжайшей секретности. О суммах, которые потребны даже для получения результатов на первом этапе работы, никто не спрашивал, да и сам характер изысканий позволял полагать, что данные, полученные на этой стадии вычислений и опытов, могут внезапно оказаться негативными: не подтверждающими, а разрушающими принятую гипотезу. Заказчики шли на любые издержки, но весьма жестко требовали, чтобы предмет исследований и весь их процесс оставались за семью замками. Даже сами участники проекта не знали, что все двадцать четыре часа в сутки их незримо охраняет специальное армейское подразделение, расквартированное в закрытой гористой местности. Сотрудники лаборатории хорошо понимали, что охранять и держать в тайне можно только величину реальную. Под научную интуицию, тем паче — под пустое прожектерство никакая добрая душа не отпустит ни единой иены. Пока же все население Китадзавы лишь продолжало систематизировать и подвергать анализу имеющуюся по урану информацию, обрабатывать необходимые для еще грядущих экспериментов данные.

— Не стоит продолжать то, что плохо начато, — любил наставлять шеф. — И еще: каждый научный работник должен помнить, что все, выброшенное автором из собственной пьесы, никогда не может быть освистано публикой...

Комиссар Касуми всячески старался, чтобы профессор составил о нем доброе мнение. Иногда в минуту передачи доверительной информации Касуми принимался заверять шефа в собственной компетенции по поддержанию в лаборатории строжайшего порядка. В другой раз он принимался на свой лад развлекать профессора.

— Хотите, Мисима-сенсей, послушать анекдот?.. Так вот, у одного начальника канцелярии сотрудники соблюдали три правила: не опаздывали по утрам, не отдыхали после обеда и... — Касуми сделал театральную паузу, — не работали до и после обеда...

---

* Оби — широкий пояс; таби — носки.

Довольный собственным рассказом, Касуми прежде всего захихикал сам, но, не встретив одобрительной улыбки профессора, задумчиво постучал карандашом по своим щербатым зубам, предложил столь же плоский анекдот иного плана: муж застает свою до ужаса уродливую жену дома с любовником; он и она в панике; муж тогда и говорит любовнику: «Ich muss, aber du?» Вновь не дождавшись похвалы, комиссар растянул губы в простоватой улыбке и, как бы извиняясь, пояснил:

— Это дурацкая шутка, господин профессор. Вы, конечно, знаете немецкий... «Я-то с ней спать обязан, а ты, мол, какого черта?» — так он, этот муж, спрашивает у любовника... Уродина она была — эта жена... Страшилище...

Мисима наконец снисходительно покачал головой...

Всю минувшую неделю Уэда совершал челночные рейсы между лабораторией и Токио: дел у сотрудников лаборатории оказалось невпроворот. Немалая их доля легла как раз на плечи Уэды. В определенной степени это объяснялось тем, что он проходил стажировку в США.

На этот раз Уэда ехал в Токио с особенно тяжелым, подавленным чувством. Почему-то вспомнилось кредо древней японской заповеди: хранить верность долгу, даже принося в жертву близких. Верен ли он этой заповеди?..

Да, он вывез из Штатов некоторые секретные документы по своей проблеме. Но, понимая, что их дальнейшая научная разработка по урану-235 может привести к гибели миллионов людей планеты, Уэда молчал об этих документах. Он продолжал мечтать о перспективах невоенного использования энергии ядра...

Поезд только что отошел от станции, куда сбегали холмы в тяжелых зеленых и черных соснах. Над их густыми лапами занималась красная заря.

Мысли его вдруг перенеслись в недалекое прошлое, когда он стажировался в Соединенных Штатах. На пышных приемах немецкие дипломаты заигрывали с японцами, а американцы силились раскусить суть этих хитроумных маневров. Пасьянс разбрасывали все, но мало кто в него верил. А дело шло к тому, что за льстивыми тостами в банкетном зале популярной вашингтонской гостиницы «Мэйфлауэр» уже угадывалась нынешняя ситуация: вторжение Японии в Китай, а затем — и война против США. Но чем вся эта авантюра обернется для Токио, тоже можно было предвидеть. В преисподнюю летит и гитлеровский поход на Россию. Поражения под Москвой и Сталинградом — достаточные тому доказательства.

«Так кто же в такой ситуации захочет нас спасать? Кто протянет генералу Тодзио руку с урановой милостыней?» — Уэда поднял воротник демисезонного пальто, купленного еще в Нью-Йорке, и сошел на перрон токийского вокзала...

С Уэдой у Касуми сложились свои отношения. В свободную минуту он рад был сразиться с физиком в дзянкэн *. К этой бесхитростной, но азартной игре комиссар пристрастился в Китае. Чаще

* Дзянкэн — популярная китайская игра на жестах. Раскрытая ладонь означает бумагу; сжатая в кулак — камень; рука с раздвинутыми пальцами — ножницы. Играют двое, одновременно изображая рукой один из этих символов и называя вслух его порядковый номер. При этом «бумага» побеждает «камень», «ножницы» — «бумагу», а «камень» — «ножницы».

победителем становился Касуми. Тогда Уэда в досаде начинал подтрунивать над полнотой комиссара, на что тот отвечал:

— Корейцы научили меня есть собачье сало: от туберкулеза помогает. Вот я и расплылся. Но вы не смейтесь, Уэда-сан. Как говорится, в каждом толстяке сидит тонкой души человек, который горько рыдает...

Касуми отлично понимал, чем занимаются шеф лаборатории и его сотрудники: об урановой бомбе ходило много всяких разговоров, хотя конкретно никто ничего и не знал...

Тогда и в голову никому не могло прийти, что совсем скоро разразятся трагедии Хиросимы и Нагасаки, что лишь сорок лет спустя правительственному Физико-химическому научно-исследовательскому институту впервые в Японии удастся провести успешный эксперимент по молекулярному обогащению урана с помощью лазера. И уж само собой разумеется, не дано было знать комиссару, что этот эксперимент будет выполнен старшим научным сотрудником, который окажется его, комиссара Касуми, однофамильцем!

Покуда же, в первой половине сороковых годов, на долю японских атомщиков оставались бесплодные поиски урановой руды и изучение различных долазерных методов расщепления урана. Но ни урановой руды, ни предприятий по производству обогащенного урана Япония не имела...

Отголоски постоянных словесных баталий, задиристых споров сотрудников лаборатории доходили до комиссара Касуми. Однако в технические проблемы он не вникал, воспринимая их суть в целом, как сложную и, видимо, пока неодолимую задачу нации. Он выполнял свои функции, считая их не менее значимыми во всей многоплановой жизненной кутерьме.

Как-то, после очередной субботней прогулки по парку Хибия, он шел вдоль улицы по направлению к Марунуоти *.

Дождь прекратился, но листва каштанов продолжала ронять на прохожих тяжелые капли.

Впереди шла парочка под черным зонтиком. А еще шагах в десяти, возле самого перекрестка Касуми внезапно заметил стройную фигурку Юкико.

Листья каштанов издавали холодный пряный аромат. Касуми вобрал полной грудью воздух и хотел было прибавить шаг, но вдруг остановился в недоумении: буфетчица словно испарилась.

Касуми рысцой добежал до перекрестка, бросил взгляд на мрачные стены императорского дворца. Юкико нигде не было. Неужели она скрылась, заметив его? Но почему? И как удалось ей сделать это столь незаметно? Загадка...

Это было вчера. А сегодня, вечером в воскресенье, Касуми приобрел в привокзальном киоске вечерний выпуск «Майнити» — и по подземному переходу выбрался на нужную платформу.

Когда состав тронулся, комиссар развернул газету.

С той поры, как он стал работать в лаборатории, его привычный порядок знакомства с газетными страницами изменился. В первую очередь он штудировал раздел научной жизни.

Под рубрикой «Калейдоскоп» Касуми ознакомился с любопытными цифрами. Оказалось, скажем, что к семидесяти годам человек теряет около сорока восьми килограммов частичек кожи; в течение этих лет он потребляет сорок тонн пищи и вдыхает триста восемьдесят тысяч кубометров воздуха; максимальная скорость нервных

* Марунуоти — токийский Уолл-стрит.

импульсов в мозгу от нейрона к нейрону составляет четыреста километров в час. О нейронах Касуми понятия не имел, но в скорости движения любого тела разбирался профессионально.

В правом верхнем углу страницы под карикатурой на неудачливого ученого, бьющего в своем кабинете колбы, внимание привлекла информация о том, что еще Герберт Уэллс в романе «Освобожденный мир», опубликованном в 1914 году, предсказал вероятность ядерной войны. Абзацем ниже рассказывалось о некоем Хайнлайне, который в 1941 году тоже воссоздал в фантастическом очерке «Неудовлетворительное решение» атмосферу ядерной войны и послевоенного безудержного наращивания вооружений всеми странами мира.

В разделе полицейской хроники шли привычные, набившие оскомину сообщения об изнасилованиях, грабежах, поджогах, самоубийствах. Угонщики автомобилей применили новый, неизвестный до сих пор способ хищения: в замок для зажигания вместо ключа они залили обычную ртуть, взятую из нескольких медицинских градусников, — и машина завелась мгновенно. «Отверстие для ключа бандиты залепили обычным пластилином, чтобы ртуть не вылилась...» Касуми улыбнулся, почесал переносицу.

И вдруг строчки поплыли перед его глазами. Он похолодел — и стал похож на водолаза, вытащенного из воды, который не может сделать и шага в своих стопудовых, подбитых свинцом башмаках.

Снова и снова пробегал Касуми глазами короткое сообщение:

«В субботу в районе Западной Гиндзы убит научный сотрудник одной из столичных лабораторий Уэда. По делу начато следствие. Полицейское управление обращается ко всем гражданам за помощью, по-прежнему считая общественность величайшим сыщиком».

И тут, неизвестно по какой ассоциации, в голову ударило: Юкико! Почему она оказалась вчера именно в том районе, неподалеку от Западной Гиндзы? Что она делала там в минувшую субботу?..

Излюбленным местом загородных прогулок Кадзи был живописный курортный городок Атами на побережье полуострова Идзу. Всего несколько часов езды от Токио, а столько заманчивых развлечений!

Война, конечно, внесла свои коррективы в жизнь этого своеобразного мира услады, но суть его оставалась неизменной. В то время как к ногам победителей Страны восходящего солнца падали знамена Филиппин, Сингапура, Таиланда, Индокитая, Бирмы, Малайи, Индонезии, — здесь в бледно-голубом полумраке баров и притонов сорили деньгами не только гангстеры и главари контрабанды, но и вполне приличные бизнесмены. Они приезжали сюда, на морской берег, чтобы на какое-то время стать частицей этой почти иллюзорной неестественной ночной мешанины. Они входили под своды «турецких бань» с горящими глазами людей, обуреваемых страстью, а под утро, когда утихала музыка и испарялись волны дурмана, брели с отяжелевшими веками по неровным дорогам городка к своим гостиницам...

Кадзи пошел в гору быстро, подгоняемый сильным, доносящим запахи моря бризом.

Уже зацвела зимняя вишня, распустилась белая азалия. В этой части Атами, без многоцветья огней над входами в веселые заведения, всегда было немноголюдно. На черном небе белопламенные рваные облачка сгрудились вокруг луны.

Вчера утром, в субботу, Кадзи услышал в Токио от своих близких друзей нечто фантастически неправдоподобное. В городе распространяются слухи, что некоторых японских ученых власти на всякий случай превращают в «покойников». Семьи получают официальные извещения о трагической гибели имярек «во славу императора и во имя идеалов Великой Японии». А в действительности эти люди либо остаются в конспиративных лабораториях на островах, либо их нелегально забрасывают в США — охотиться за военно-техническими новинками.

Кадзи прикидывал теперь: не доберутся ли таким образом и до их лаборатории? Всякое случается. Время непростое. Уэда-сан со своей беспокойной нетерпимостью сказал бы на это скорее всего как-нибудь так: «Дай топор в руки слепому — он таких дров наломает!..»

За день, проведенный в столице, Кадзи устал. Предаваться веселью желания не было — и он направился прямо в гостиницу «Охана», где забронировал номер по телефону из Токио.

Привычно сунув голые ноги в гета и надев купальный халат, который предусмотрительно лежал на разобранной кровати в его номере, Кадзи спустился в цокольный этаж. Там за невесомыми фусума * находились раздельные мужские и женские раздевалки и общий для всех неглубокий бассейн с водой из горячих подземных источников. Курорт Атами издавна славился своими природными ваннами.

Кадзи сбросил гета, халат, встал под упругую струю душа, ополоснулся и легкой трусцой вбежал в зал с бассейном. Под застекленным, как в оранжерее, потолком клубился белый пар. Его рваные хлопья плясали и на поверхности зеленоватой от плиток кафеля воды, скрывая лица людей, смиренно сидевших по шею в бассейне **. Кадзи насчитал лишь пять-шесть черных макушек. Он осторожно вошел в воду, крякнул от удовольствия и присоединился к почти ритуальному обряду купальщиков.

Когда глаза привыкли к светотеням, Кадзи заметил на восточной стене цветной витраж на мотивы картины Домье «Утерянный рай»: прекрасный ангел Люцифер, восставший из-за непомерной гордыни против Бога, был низвергнут в пекло ада и обращен в чудовище — Сатану. И вот он парит на черных крыльях по Вселенной.

В зал вошла нагая супружеская — судя по сопровождавшим их мальчику и девочке школьного возраста — чета. Кто-то поднялся из воды (она доходила лишь до бедер) и направился к выходу. Откуда-то доносились приглушенные звуки сямисэна ***. Этажом выше находился неплохой ресторан, где умело готовили японские и португальские блюда. Кадзи останавливался в этом старом отеле не раз, знал и все его достоинства и худые стороны. Последних насчитывалось даже меньше, чем в других подобных заведениях.

Зачерпнув в пригоршню слегка отдававшей запахом серы воды, Кадзи ополоснул лицо, прищурился. В полутора метрах от него блаженствовала, сидя на корточках, женщина. Он видел ее высокую прическу и ладную спину. Затем купальщица поднялась, открыв его взору округлые бедра, тонкую талию и розовые кружочки на упругих ягодицах: следы от пяток, на которых она только что сидела.

---

* Фусума — раздвижные перегородки.

** Японцы в бассейнах не плавают, а спокойно сидят в расслабленных позах.

*** Сямисэн — трехструнный щипковый инструмент.

Кадзи во все глаза смотрел на женщину. Ошибки быть не могло: перед ним во всей своей соблазнительной наготе, расставив стройные ноги, стояла Юкико. От близкого соседства с женским телом Кадзи ощутил жгучий прилив желания, чего прежде в схожих ситуациях с ним никогда не случалось.

Юкико машинально разгребла ладошкой воду, подошла к никелированной лесенке, поднялась по ней и скрылась за перегородкой.

Снедаемый то ли любопытством, то ли непредсказуемым мужским инстинктом, Кадзи вмиг оказался на забрызганном коврике раздевалки. Прислушался. За легкими фусума шелестело полотенце.

— Юкико-сан, — набрался он храбрости, — добрый вечер!

— Добрый, добрый!.. Вот уж никогда не подумала бы, что и вы, Кадзи-сан, окажетесь в этой гостинице.

— Судьба! — многозначительность, которую Кадзи вложил в это слово, не могла быть истолкована двойственно. — Обедали?

— Нет, только собираюсь.

— Не хотите ли составить мне компанию? Я плохо разбираюсь в кухне.

— Это — единственная причина вашего царственного жеста? — в тоне вопроса прозвучал, как почудилось Кадзи, определенный намек.

В лаборатории ученый всегда был подчеркнуто строг и предупредителен с Юкико. Но там их разделяла несомненная социальная пропасть. Однако какое может быть чинопочитание в гостинице, тем более — в общественном бассейне! И вот теперь — хотя Кадзи все еще не хотел себе в этом признаться — он напомнил себе человека, страшившегося искушения, но внезапно готового поддаться ему с легкомысленной одержимостью.

— Я буду ждать вас ровно в час в Лиловом зале, третий столик у окна, — он прислушался. — Сговорились?

— Закажите непременно омаров по-португальски: в винном соусе со спаржей, — засмеялась Юкико...

...Однажды, направляясь через проходную к лабораторному корпусу, Кадзи обратил внимание на то, как одноногий привратник Гомбэй сверлил глазами Юкико, которая поливала цветы перед южным флигелем. Кадзи не удержался от иронической реплики, но привратник не полез в карман за ответом: «Господин ученый, запомните: каждая женщина молит судьбу хоть раз в жизни послать ей взгляд мужчины, полный нежности, страсти и желания. Так-то, мой господин!..» ...Когда они поднялись по скрипучей деревянной лестнице в номер Кадзи, дальнейшее было предрешено как само собой разумеющееся.

— Кадзи-сан, скажи, почему у тебя на вороте рубашки вышита хризантема? Может, ты скрываешь, что принадлежишь к императорскому роду?

— С таким же успехом я могу спросить, почему твоей эмблемой является сакура, — засмеялся он, подливая в ее бокал «божоле».

На щеках Юкико, словно мотыльки, порхнули лукавые ямочки:

— О, моя родословная!.. Училась в школе гейш. Бросила — определилась на место хостэс*. Потом уехала за границу. В Штаты...

— Ходят слухи, что ты в родстве с профессором Мисимой.

---

* Хостэс — женщина, выполняющая роль хозяйки за столиком в ресторане.

— Ах, эти слухи! — кокетливо отпарировала Юкико. — Уймись!..

Сквозь легкое опьянение Кадзи ощутил, как на него нахлынуло острое желание. Он обнял Юкико, притянул к себе, отыскал теплые влажные губы. Она не сопротивлялась, обвила его шею руками.

Потом они лежали рядом, одновременно испытав острое наслаждение и пребывая теперь в состоянии полного блаженства.

— Ты всегда теперь будешь со мной? — спросил Кадзи.

— Если мы сможем любить друг друга так, как нам этого хочется, тогда не будет нужды в измене. Женщина ищет другого только в поисках силы и умения любить... Но я полагаю, мы не станем сейчас рассуждать о том, что будем делать с нашими чувствами завтра?

— А они, эти «чувства», у тебя есть?

— Сомневаешься? Впрочем, что касается тебя — это еще нужно проверить, — засмеялась Юкико.

— Каким образом? Только — честно.

— Разумеется! Да, мне хотелось бы встречаться с тобой и впредь. Ты мне нравишься. Да и по темпераменту вполне подходишь. Но прежде обещай ответить без утайки на один вопрос, чтобы между нами не было того, о чем умные люди говорят: «Маленькая ложь рождает большое недоверие». Согласен?

— Да, слово чести! — Кадзи привстал с подушки-валика.

— Нет, нет, прежде обними меня. Вот так... А теперь — вопрос: твой коллега Уэда, с которым у меня начался было легкий роман, однажды в сильном подпитии проболтался, что передал тебе какие-то секретные документы. Он их, якобы, вывез из Америки. Это правда?

— Да ты что, рехнулась? — Кадзи побледнел. — Впервые слышу!

— Ну, а если вспомнить хорошенько? Если мы побываем у тебя дома — и обнаружим их?

— Кто это — «мы»? — Кадзи отупело смотрел на розовую кожу живота Юкико.

— Я и один из сотрудников лаборатории. Хотя бы вместе с тем же Уэдой.

— Рад буду принять. Но сегодня я не собираюсь в Токио. Возвращаюсь в лабораторию. Надеюсь, ты доберешься сама. Нам лучше ехать порознь.

— Насколько мы осведомлены, ты не цепная собака на работе и не раб жены в своем доме. Ну, а если прячешь свои секретные бумажки в лаборатории, я окажусь возле твоего кабинета сегодня же, ровно за пять минут до тебя. Уничтожить ничего не сможешь — не успеешь. Что скажешь, милый?.. Ну, обними же меня!..

Кадзи наскоро оделся и выскочил из номера.

Такси доставило его к билетным кассам железнодорожного вокзала Атами — и скоро его перрон остался за семафорами и стрелками.

Кадзи рассеянно блуждал взглядом по проносящимся вдоль полотна лачугам, полям, километровым столбам. Репродуктор под потолком вагона прохрипел название приближающейся станции. Потом включился голос диктора токийской радиостанции. Мрачный речитатив полицейской хроники сменила бравурная музыка. И снова — полицейская сводка. Лоб Кадзи собрался внезапно в тугую складку над плоской переносицей. Он заострил слух: «...Убит...»

Вагон трясло на стыках, ржаво скрежетали буфера сцеплений. Сообщение диктора было совсем невнятно. Однако Кадзи ухватил суть информации: то ли отравлен, то ли как-то иначе убит Уэда;

начато следствие; полицейское управление уповает на помощь общественности... Кадзи стер со лба обильно выступивший пот.

Весть о гибели Уэды потрясла в первую очередь обитателей Китадзавы. Сотрудники лаборатории задавались вопросом: кто мог подсыпать в кружку пива цианистый калий (об этом сообщила полиция)? И ведь «Золотой павлин» — не самое заурядное заведение: его хозяин Такано имеет редкий сертификат на изготовление блюд из фугу *. А это свидетельствует о многом!

Убийство Уэды заставило Кадзи поставить перед самим собою множество тревожных вопросов. На гостиничном ложе любви Юкико выпытывала у него сведения о каких-то секретных материалах. Но сам Кадзи не имел о них ни малейшего представления. Да и с Уэдой на эту тему у них разговора не возникало.

В полицейской хронике Кадзи прочел, что в день убийства в квартире холостяка Уэды все было перевернуто вверх дном: кто-то явно что-то искал. Денег убийца или его сообщник не взял, другие ценные вещи также остались на месте. Вывод напрашивался однозначный: значит, рылись в надежде заполучить бумаги, которыми Юкико интересовалась тогда в гостинице «Охана».

Кадзи стало не по себе.

Сообщить обо всем профессору Мисиме? Заявить в полицию? Но ведь тогда его затаскают по следственным органам как «свидетеля».

«Я словно Буриданов осел, который околевает с голоду меж двумя охапками сена, не зная, от которой отхватить клок», — думал Кадзи. Мысли рассыпались на фантастические осколки: образы, расплывчатые аргументы. Он снова представлял себе обнаженную Юкико в гостинице «Охана», потом Уэду, играющего на садовой скамейке с комиссаром Касуми в дзянкэн. После стольких месяцев совместной работы он так и не узнал своего коллегу. Да, справедливо говорят: даже будучи знаком с человеком, не познаешь всех его тайн.

Побрившись, Кадзи ополоснул лицо водой из эмалированного таза и пошел одеваться. Галстук — в полоску или гладкий? Не забыть отдать жене часть зарплаты. Забрать чистые сорочки, носки...

В дверь постучали.

На пороге стоял Касуми — в неряшливо расстегнутом мундире, весь растрепанный. Кадзи показалось, что у полицейского неестественно трясется голова.

— Кадзи-сан, — истерически выпалил комиссар, — нашу красавицу Юкико-сан убили!

— Где, когда? — Кадзи побледнел.

— Солдат наружной охраны пошел по малой нужде к склону оврага — и там... Она... Лежит на дне ущелья. Я сам видел. Шефа на территории нет — вот я и осмелился оповестить вас...

Подошел, прихрамывая, привратник Гомбэй. Кадзи обратил внимание на его настороженный взгляд — исподлобья, как у бродячего пса.

— Ты почему отлучился от проходной?! — не своим голосом заорал вдруг на привратника Кадзи.

— Юкико-сан убили, — словно оправдывая свой поступок, ответил Гомбэй и, повернувшись на восток, начал бить с отрешенным видом поклоны **.

---

* Фугу — шар-рыба.

** Считалось, что японский император всегда находится на востоке. Этот обряд был распространен в японской армии.

Кадзи бросился к телефону. Номер Мисимы не отвечал. Двор лаборатории постепенно заполнялся людьми. После гибели Уэды настроение у всех было подавленное. А теперь — Юкико. Кто следующий? Кара? Но за что?

Кадзи упрямо крутил пластмассовый диск телефонного аппарата. Мисима не отвечал. Обычно, если профессору вдруг приспичивало куда-либо отлучиться, он предупреждал Уэду или его, Кадзи. Но Уэда отравлен, убит. Так что Кадзи теперь, в общем-то, — второе официальное лицо здесь, в лаборатории Китадзава...

Что же произошло?.. Стоп! Ведь Уэда как-то в порыве откровения признался, что намерен или уже оставил завещание. Это было в Токио, на Западной Гиндзе. Цвела акация, светило солнце, пахло хвоей. Кадзи сидел с Уэдой в каком-то кабачке — и вот тогда-то Уэда бросил загадочную фразу: «У нас обнаружено родство душ, а это вносит определенный нюанс...» С кем это он обнаружил родство душ, интересно? Почему составил завещание? Что-то или кого-то заподозрил? Ах, как жаль, что Уэда всегда скрывал мысли под маской безразличия и беспристрастия! Мозг его непрестанно работал дьявольски активно, четко — и если б сейчас знать то, о чем знал, о чем догадывался он!..

Незадолго до убийства Уэды профессор Мисима поручил ему заняться вплотную локальной, казалось бы, проблемой — «запалом» для ядерной бомбы. Возможно, Уэда уже решил какие-то аспекты этой задачи? Может быть, надо искать где-то здесь? Хотя эти разрозненные факты вовсе не соседствуют с прямыми уликами.

Может, стоит срочно передать дело сыскному бюро? Но ведь каждый знает, что в таких конторах сочетание наглости и вежливости их агентов работает в основном на прославление персонала бюро, а не на истину.

Так что же делать? Обостренная интуиция всегда подобна самому короткому запальному шнуру, который готов взорвать все в любую минуту. Тем паче, в совершенно секретной лаборатории. Нет, нет, события торопить не стоит. Что ни говори, а выдержка — обратная сторона стремительности...

— ...Да, так точно. У нас скопились факты, но непосредственных улик нет. Разбирательство на сей день зашло в тупик... Хорошо...

Следователь повесил трубку и облегченно вздохнул. От этих вопросов начальства он просто задыхался.

Если бы преступник хоть где-то «расписался»! Но шли месяцы — следователь, уже освоившись с обстановкой, выдвигал все новые очередные версии, однако факты бросали его на лопатки.

Мог ли он знать, что крутой поворот наступит завтра, во время очередного допроса сотрудников лаборатории!..

В этот день комиссар Касуми решил рассказать следователю свой любимый анекдот о «некрасивой жене». «Ich muss, aber du?» — эти слова он произнес с такой легкостью, будто давно и неплохо владел немецким.

И вдруг следователя осенило. Ему приходилось раньше слышать, что еще в середине тридцатых годов в Берлине, на Унтер-ден-Линден было создано бюро «НВ-7» — специальное подразделение химического концерна «ИГ Фарбениндустри». Его сотрудники занима-

лись шпионажем в разных странах, в том числе — и в Японии. А что, если...

Следователь наклонился к самому лицу Касуми — и внезапно задал лобовой вопрос:

— Вы работали на немцев?

— Я — сын нации! — оскорбленно выпрямился Касуми. — Если я работаю, то работаю на своих и только за деньги...

— А сколько, — пошел ва-банк следователь, — вам заплатили за убийство Юкико-сан?

Касуми вздрогнул. Вопрос пришелся точно «под ложечку».

— Увольте, но провокационные вопросы — не для полицейского чина, — комиссар нервно расстегнул воротник мундира, и его волнение сразу было замечено следователем.

В былые времена на африканском континенте некоторые племена верили в «бобы правосудия». Их давали человеку, прежде чем допрашивать. В ситуации с Касуми и другими участниками преступления бобы не понадобились. Подтверждался известный пассаж из теории по логике оценок: есть категория людей, которые, делая зло, именуют его добром, — и есть люди, творящие зло, будучи глубоко убеждены, что это и есть само зло...

Словом, следствие напало наконец на верный след.

Касуми, привратника Гомбэя и профессора Мисиму взяли под стражу. Кадзи и еще нескольким сотрудникам лаборатории досталась на процессе роль свидетелей.

Суть преступления сводилась к тому, что воспользоваться не только вывезенными Уэдой из США секретными документами, но и его собственными последними лабораторными разработками решил не кто иной, как профессор Мисима. Не желая делить славу ни с кем, Мисима преследовал единственную цель: лично выслужиться перед императором — и уже видел на своей груди высшую награду Японии: орден Восходящего Солнца.

Секретные материалы, принадлежащие Уэде, выкрал и за приличное вознаграждение передал Мисиме комиссар Касуми. Это произошло за несколько дней до гибели Уэды в «Золотом павлине». Тот же Касуми по поручению шефа приказал привратнику Гомбэю сбросить Юкико в ущелье: Мисима проницательно опасался, что Юкико и ее американские хозяева всерьез начнут охотиться лично за ним; на карту ставилась собственная жизнь, так что чужая в счет не шла.

Когда был вынесен приговор, Мисима обронил всего несколько слов: «О, священный дух Ямато! Наше высокое предназначение — править миром!..»

Однако «править миром» японским милитаристам не было суждено.

Воскресным днем 2 сентября 1945 года на палубе линкора «Миссури» перед орудийной башней большого калибра японцы подписали акт о безоговорочной капитуляции.

Постскриптум

Не так давно стало известно, что в Соединенных Штатах еще до начала осуществления «Проекта Манхаттан» — работ по созданию атомной бомбы — разрабатывался другой план. Он предусматривал создание оружия, которое могло бы уничтожать все живое, посевы и продукты питания радиацией. Из рассекреченных документов

военного ведомства США за 1941 год явствует: радиоактивные отходы могут за сутки превратить обширный район в вымершую пустыню. Центром испытания этого страшного оружия стала лаборатория в Лос-Аламосе. В одном из недавних номеров журнала «Бьюллетин оф атомик сайентистс» профессор Стенфордского университета Бернстейн доверительно сообщает об особой заинтересованности Пентагона в таком оружии, ибо оно должно было обладать свойствами «особо сильного поражения». Этот проект составлялся при участии будущего «отца водородной бомбы» и одного из авторов нынешнего проекта «звездных войн» — Эдварда Теллера. И опять-таки в качестве первой предполагаемой жертвы выбрана была Япония.

В 1940 году Вашингтон принял решение сосредоточить усилия ученых на «Проекте Манхаттан». Никаких сведений об этой работе ученые не публиковали из опасения, что гитлеровцы могут использовать их для создания собственного глобального оружия. Однако опасения эти были напрасны. Германия не устояла перед мощным наступлением советских и других союзнических войск — и капитулировала. Но еще шла война с Японией.

И вот в понедельник 16 июля 1945 года в 5 часов 30 минут в пустыне Невада состоялось испытание первой атомной бомбы. Узнав об этом, многие ученые настаивали, чтобы поставить атомную энергию под контроль и не применять бомбу против Японии или хотя бы разбросать над нею листовки, предостерегшие бы людей об опасности радиоактивного излучения. Но военные отмахнулись от этих призывов, заявив, что бомба-де лучевой болезни вызвать не способна.

Так настали августа дни Шестой и Девятый: ядерный смерч обрушился на Хиросиму и Нагасаки...

Эта бомбежка полностью соответствовала главной имперской доктрине США. «Атомная дипломатия» надолго стала коньком американской внешней политики. Мало того, сегодня и в Токио вторят Вашингтону, уверяя, что «если бы США не располагали в 1945 году атомной бомбой, то не было бы видно конца войне, а продлись она дольше, Япония оказалась бы под пятою красных Советов». Ни более, ни менее!

Горе-пропагандисты запамятовали даже слова своего президента Гарри Трумэна, который говорил, что правительство США «радушно приветствует участие в этой войне нашего славного и победоносного союзника». Вступление СССР в войну с Японией действительно весьма ускорило ее безоговорочную капитуляцию. «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза, — заявил 9 августа японский премьер-министр Судзуки, — ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

Эти слова — еще одно из бесспорных доказательств того, что именно действия Красной Армии, а не каннибальская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки окончательно решили судьбу того дня, в который завершилась вторая мировая война.



Юрий Андреев

Сказки одной судьбы

По глупой и тупой иронии судьбы Елена Шварц печаталась до сих пор крайне редко, хотя написано ею много — несколько томов стихотворений и поэм. По-видимому, ординарным людям узкой боязливой души, от которых зависело решение о ее публикациях, трудно было смириться с необычностью ее поэтического мира, характером ее образности, ее стилистикой.

Такова уж особенность дара этой поэтессы, что она с равной легкостью бродит взад-вперед по эпохам как своей собственной биографии (это уж ладно, простим ее поэтическую неустойчивость), так и всемирной истории (а там-то, где-то в непонятной расплывчатой дали, да еще с поглядами оттуда к нам, сюда, с аллюзиями, — что ей делать?..) Да и потом учена она очень, как-то уж чрезмерно; это что же — все отсылки за нею проверять? Рабочего дня на это не хватит! Запутаешься, как в проволочных заграждениях, да еще, того гляди, на малозаметной мине и подорвешься. Ну что такое, к примеру, триграммы из И Цзина? Двустишия еще понять могу: тезис — антитезис, — а тут подсовывают и что-то третье; это уж явно от лукавого... Бог с нею, пускай лучше (для меня) полежат ее стихотворения в столе (у нее)...

Так или примерно так рассуждали любители превращения (редактирования) сосны в телеграфный столб: и ветви в разные стороны не торчат, и прямизна ствола вполне обозрима... К счастью, их время проходит. Вскоре в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» увидит свет книга стихотворений Елены Шварц, которая, полагаю, положит начало исходу накопленных ею произведений (и новых, конечно) к широкому читателю.

Сходство Елены Шварц со всеми истинными поэтами заключено в том, что стихотворения ее лишены пустот, т. е. неэкономных слов, описательно и долго излагающих то, что сразу, одномоментно способен сказать образ. Ее произведения в этом плане очень ценностны, насыщены информацией о том, что для человека (персонажа) хорошо, что — плохо.

И все же Елена Шварц отличается от других поэтов «лица

необщим выраженьем» (как, впрочем, каждый из них несхож с другими). На мой взгляд, своеобразие ее в том — повторю сказанное вначале, но с уважением к Елене Андреевне, — что она каждую комнату огромного дома всечеловеческой культуры считает равно интересной и для себя, и для своего времени. Это касается и географии, и этнографии, и философии, и различных верований: как же не знать их, не размышлять о них сейчас: ведь за всем этим — огромная работа целого человечества, такого неимоверного количества добрых и мудрых людей!..

Лукавая сказка Елены Шварц о втором путешествии Лисы на северо-запад — лишь самое начало долгого будущего знакомства читателя с большой оригинальной поэтессой, которое принесет нам много необычного, даст новую серьезную пищу для нашего сердца и ума. Доброго пути!

Елена ШВАРЦ

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛИСЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАД

Прежде всего — о природе Лисы. Дитя китайской мифологии, оборотень, лукавая и погибельная, она, являясь в облике прекрасной девицы, завлекает студентов (всегда — студентов) в свои сети. Как видно из названия поэмы «Второе путешествие Лисы на северо-запад», было, естественно, и первое. В первой поэме о Лисе она попадает в Таллин, переживает несчастную любовь к эстонскому поэту Арно Царту, потом — уже снова в облике Лисы-зверька — с горя дает себя поймать и заточить в зоопарк. Дальше ее следы теряются. И вот она прилетает в Ленинград, чтобы навестить старого друга, скрытого чародея, живущего здесь.

1. Письмо от Циня

Дорогая Ляо! Золотая!
Я живу теперь в Санкт-Петербурге
(Городок такой гиперборейский).
Здесь песок для опытов удобный:
Свойства почвы таковы,— что близок
Я уже к разгадке Циннобера *.
Город этот рядом с царством мертвых,—
Потому здесь так земля духовна.
В опытах продвинулся я очень,
Но об этом никому, при встрече...
Притворяюсь сторожем при бане,
Одноглазым пожилым пьянчужкой.
Очень грустно мне и одиноко,
Некого позвать на день рожденья,
А в субботу (верно, ты забыла)
Стукнет мне 716 лет —
Хоть не круглый возраст, но серьезный.

---

* Циннобер — киноварь, в даосской алхимии очень важная вещь.

Приезжай, Лисица дорогая,
Золотая вечная подруга,
Выпьем мы напиток драгоценный
Из слюны волшебной птицы Феникс.
Адрес мой: Дзержинского, 17,
И спроси Семеныча Кривого.
Вспомни, как мы в небе пировали.
Посылаю я письмо с драконом
Синим из Шань-си, тебе известным.
Он уже стучит нетерпеливо
По стене хвостом. Так приезжай.
Помню все-все-все. Веселый Цинь *.

2. Не прошло и двух дней

Ночь. Затихает
Коммунальной квартиры
Концерт субботний.
Скрипки улеглись,
И фаготы уснули.
Запершись, Цинь любуется
Неким составом золотистым,
Взбалтывая осторожно
И чмокая языком.
Вдруг в дверь стукнули
Громко, а потом тихо,
Десять раз подряд,
На мотив известной всем даосам
Песенки:
«Поймал меня Тань-ши ** в бутылку,
Да замазать забыл хорошенько».
Вздрогнул Цинь — не шпион ли?
А из-под двери — сиянье
И кончик хвоста красноватый
В щель протиснулся
И ходит игриво.
— Отоприте, скорей, отоприте!
Отворите — спасаюсь от охоты!
— Ляо! — В дверь Лиса ворвалась со смехом
Колокольчатым,
Как пагода в мае.
— Ляо, как ты выглядишь прекрасно!
Не то что твоих шестиста,
Тридцати тебе не дашь, плутовка!
Я ведь помню тебя лисенком,
Диво, как ты мало изменилась!
— Что ж тут дивного? Не человек я.

* Цинь — великий даос-алхимик, и сейчас он близок к разгадке эликсира, обладая которым можно ни богов не бояться, ни смерти. Но не знает он, что многим лестно этот эликсир скорей добыть.

** Тань-ши — даосский «папа».

Ты вот — это вправду диво —
Ты такой же красивый и веселый,
Как в блаженное время Мин.
Ты прямо чудо!
Ты знанием небесных тайн владеешь.
Я тобою восхищаюсь.
Все мы в Поднебесной
Следим за твоей работой
(Ну, насколько это в наших силах).
Все в Китае — духи, зайцы, лисы,
Золотые, красные драконы,
Сам Единорог — Ци-линь могучий
Только о тебе и говорят
(В последнее время).
— Что же обо мне, ничтожном,
Вспоминать особам столь почтенным?
— Говорят, ты к тайнам жизни
Прикоснулся,
Кровь души ее сварил,
У тебя в руках все судьбы мира,
Так болтают. — На, возьми подарок. —
Тут Лиса достала из-под юбки
В форме голубя бутылку из нефрита,—
Знаешь, ду́хи разные бывают —
Могут и украсть, они все могут.
Вот бутыль, она — неоткрывашка,
Только ты да я открыть сумеем,
Влей сюда составчик твой спокойно
И шепни такое заклинанье
(Тут она на ухо пошептала) —
И другой открыть никто не сможет.
— О, твой подарок кстати! Драгоценность!
С тех пор, как я добыл состав,
Меня тревожат ду́хи,
То череп поглядит в окно
И расхохочется, то ломятся
Драконы ночами в дверь.
Теперь надежней будет.
Он перелил состав и запечатал.
— Присядь. Поешь. Устала ты, наверно?
— Да нет, ведь я на облаке попутном
Прилетела.
Конечно, это долго, но удобно.
Уносит ветром то в моря, то в горы,
Но у меня с собою был цыпленок,
Бутылочка вина (стащила в храме),
И почитать что было — Кама-сутра,
Да Иакинф Бичурин, Пу-сун-лин.
К полуночи сошла я на Дворцовой.
Пойдем-ка погуляем, Цинь!

Иль, если хочешь, действие состава
Мне покажи. — Что ж! Я сотню лет трудился,
Но никому еще не хвастался. Смотри!
Есть у тебя хоть косточка цыпленка? —
Лиса из рукава достала ножку.
— На, закуси. — Да нет, не для того.
Достал бутыль и капнул осторожно
Мерцающую и густую каплю
На ножку. Сразу ж
Прибавились к ней крылья, голова
И закричал цыпленок — кукареку
(но только по-китайски — кукаси)....
— А если этим помазать зеркало —
Увидишь свои рожденья
И себя в гробу.
Но это лишь побочные эффекты
О главном я потом тебе скажу.
— Охти, мне страшно! — пискнула Лисица.
Цинь каплю стер с цыпленка,
Тот ножкой стал, поджаристою в меру.
Состав вновь осторожно запечатал
И в холодильник дряхлый положил,
И холодильник тоже запечатал.
— Ох, страшно, страшно! Надо прогуляться.
Ночей я белых не видала в жизни.
Пойдем, голубчик Цинь, пойдем
И где-нибудь твой день рожденья
Справим, закусим, выпьем, ну пойдем!
— Да боязно состав оставить так.
Да и устал я... — Пойдем, пойдем,
Ну ради старой дружбы!
Цинь рассмеялся и махнул рукой.

3

Пару странную видали
В переулках у канала —
Одноглазый матерщинник
И веселая бабенка
В ватнике и сапогах.
А воздух палевый,
Деревья в полной силе,
Луна висит когтем, от чарованья
Нам помогающим (сегодня не поможет).
Они идут, мурлычат,
Покачиваясь на ходу — как будто от вина,
На самом деле — что счастливы
Увидеться они.
— Какое счастье! Наконец, мы рядом,
Уже два века не видались мы.
Но тут — увы! — они проходят мимо

Скучающего милиционера.
И, удивлен их видом, странной речью,
Он говорит им: — Ваши документы!
Ах, нету? Так пройдемте! — А куда?
— Увидите. Ругаетесь вы матом.
— Мы не ругались вовсе, что вы! Что вы!
Вы — власть, а власть мы с детства уважаем!
— Нет, все-таки пройдемте! Вы нетрезвы!
Ругаетесь. — Да где же мы ругались?
— И представляете для общества опасность.
Пройдемте! — Раз так, то лучше поплывемте, поплывемте! —
И кинулись в канал и по нему
Плывут, как две моторных мощных лодки,
А в воду по колено погружаясь.
Служивый, говорят, совсем рехнулся
И повторял в больнице: «Поплывемте.
Нет документов? Граждане, плывемте!»
Они же — по Фонтанке, в Летний сад.

4

И вот они в закрытом Летнем
Густом саду.
В такую полночь
Неведомо что делать —
Нет сил жить
И не жить нет сил.
— Как статуи здесь некрасивы
И лебеди клекочут, как больные,
Но что-то вдруг китайщиной запахло,
Откуда бы? — От Домика Петрова.
Пошли туда, уселись на полянке.
Где старец-матерщинник? Где бабенка?
Прекрасный юноша в халате,
Украшенном драконьими глазами
И тиграми
(А те носами водят, китайский чуя домик),
И дама с веером фламинговым —
Очаровательна — и на макушке гребень,
А в нем жемчужина прозрачная пылает.
Лиса из рукава достала
Флакончик с рисовою водкой.
— Ого! Как хорошо! Сто лет не пил. —
Бутылку с тушью, свиток и еду.
— Ты, говорят, страдала от любви —
Узнав об этом, очень я смеялся —
И в зоопарк, как дурочка, попала?
— Ты помнишь песенку мою,
Что все поют в седьмом раю?
И веером кружа,

Она запела:
— Все до фени
Ляо-шу-фэнь,
Фрейлине великой Феи.
На пятке — корень чарованья,
На сердце — лотоса цветок,
А на уме — триграммы из И Цзина. —
— Помню, помню!
Как я рад, что весела ты!
— Отчего ж не веселиться?
Я сдала вчера экзамен
Строгой матушке Тайшень*
И приблизилась к бессмертью.
Мы ведь каждый год должны
Их сдавать — я в зоопарке
Даром время не теряла!
— А какая была тема?
— Тема: «Персиковый цвет».
Тут они захохотали
(Ведь от бесов помогает
Этот персиковый цвет).
— Тема очень благодарна.
Тут вдруг вспомнил Цинь,
Что обещал он угостить подругу
Фениксовою слюной.
Ну, распили по наперстку —
Стали легкими такими,
Что земля уж их не держит.
— Говорят, что твой эстонец
Вроде бы совсем зачах
И стихов уже не пишет.
— О, я вижу все ты знаешь!
— Ну, драконы ведь летают...
— Что ж! — зачах — так и бывает.
Нам положено, лисицам,
Человека погубить,
А самим нам все до фени.
За нос я его водила
И взяла немного силы
Для бессмертия лепешек.
— Ты б его хоть навестила?
Это близко. — Да зачем же?
И зачем ему Лисица
С родинками на запястье
В виде Лебедя созвездья?
Что о нем и говорить?
— Еще болтают — здесь объявился некий
Поэт — стихи подписывает Арно Царт.
— Вот самозванец! И хорош собою?

* Матушка Тайшень — хозяйка Святой горы в Китае, покровительница лис.

В нем силы много жизненной?
— Не знаю, все недосуг
Мне было повидать,
А прозывается,
Как будто — Кри-ву-лин *.
Уж не китаец ли? Я навещу его.
К поэтам я питаю с детства слабость.
Да вот на той еще неделе
С Ли-бо катались в лодке мы. —
Так, болтая, выпивали
И стихи писали тушью.
Выпивали и болтали,
Побрели потом куда-то
Одноглазый матерщинник
И веселая бабенка,
Напевая и мурлыча:
Все до фени
Ляо-шу-фэнь,
Фрейлине великой Феи.

5

— Я по тебе так тосковал, Лисица,
Пойдем домой, пойдем скорей домой.
— Пойдем, но после. Лучше погуляем.
— Ну раз уж тебе охота,
Пойдем посмотреть на китайцев,
Единственных в Петербурге.
— Да кто ж такие? — Ши-цза **,
Слегка уязвленный Цинь
Повел ее к этим страшным,
Жестоким и маленьким львам.
Через Неву пролетели.
— Вот они. Отвернулись. Делают вид, что не знают.
Забавные все же зверьки.
Про них ходят разные слухи.
Говорят, зазевается в полночь
Человечек — и утром находят
Кровь на пасти Ши-цза.
Лиса отвечала в том смысле, что —
«Как хорошо, мы не люди,
А то нам было бы страшно.
Но мы, хвала Небу, не эти
Кожаные мешки,
В которые вдует ветер все, что захочет.
Ой, прости, я забыла, что ты...»
— Ничего, ничего, я тоже
Не совсем уже человек.
Я их кормил в Новый год

* Кри-ву-лин — ленинградский поэт, подражатель Арво Царту.
** Ши-цза — китайские сфинксы на Петровской набережной.

Пельменями из пельменной,
А если ты дашь им откушать
Китайского пирожка,
Им будет гораздо легче
Стоять здесь еще столетья
Под шорох невского льда.

6

— Оживет Любовь от обморока,
Удивится — где была?
Кажется, я три столетья
Сном болезненным спала.
Где же я брела, шаталась,
Где же я, Любовь, была? —
Так Лиса лукаво пела,
Юбкою гранит мела.

7

Лиса из туфли достала
Бумажный кораблик,
Плюнула — получилась лодка
Деревянная, сели они, поплыли
По стеклянным залам белой ночи,
По Фонтанке, Мойке и каналам
И доплыли даже до Залива,
Цинь домой просил Лису поехать,
Но она все любовалась видом
— Ведь такого нет у нас в Китае.
Так они плавали, плавали
До звона в ушах,
До прозрачности в глазах
И в ознобе легком наконец-то
По каналу повернули к дому.
Торопились люди на работу.

8

Дверь открыли. В прихожей
Цинь Лису обнимает, целует,
А она все смеется звонко...
В коридоре стоит соседка,
Странно смотрит, к стенке прижалась
— Что такое? — Да вот — смотрите!
Дверь распахнута в комнату,
Холодильник продырявлен
Будто пушечным ядром.
Цинь побелел. Соседка тараторит —
Слышу грохот, вижу
Человек от вас бежит —
Рыжий, страшный,
Я ему — кто такой? А он — как пырскнет!

Изо рта огонь! Я испужалась.
Цинь ей говорит: — Идите, спите.
Уползла соседка. Цинь на пол сел
И дышит, как рыба на песке:
— Знаю я, кто это — красный злой дракон!
— Это он, конечно, это он! —
Смеха колокольчатый звон —
Это Лиса смеется и в форточку хочет
Пролезть.
Цинь в изумленье руку протянул,
Заклятье прошептал — та в воздухе повисла.
— Теперь я понял —
Зачем всю ночь
Меня водила!
Агент! Шпионка!
На кого работаете, госпожа Ляо? —
Она же в воздухе застыла,
И, как воск на свече,
Ее одежда вся оплыла.
И в воздухе висит
Лысеющая лиска.
— Вот хвост отрежу!
Что — ты — без хвоста?
Взмолилась тут Лиса:
— Пусти меня, пусти!
Состава не вернуть.
Он слишком был опасен
В твоих руках.
Ты все же человек...
— Да знаешь ли ты, старая зверюга,
Что я могу в кувшин тебя упрятать,
И будешь ты без воздуха и света
Томиться век
Здесь в питерских болотах?
— Цинь, миленький, припомни нашу дружбу!
Не делай этого.
Любовь ты нашу вспомни,
Заоблачные песни.
Ведь мы с тобою на одной подушке спали
И укрывались рукавом одним.
Пускай тому три века,
Но все-таки, Цинь, миленький!
Цинь отвернулся и махнул рукой.
Лиса со свистом в форточку умчалась,
Вернулась, заглянула, прошептала:
— Прости меня, себе я не хозяйка.
Единорог велел. Прости. Прощай!

Дней через пять
Соседи на полу нашли
Холодного и старого китайца.

РАЗДЕЛ БЕЗ НАЗВАНИЯ

ПОЧТОВЫЙ УГОЛОК

Ведет Евпатий

1. ГЛЕБ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРИУМФ

Последнее задание 1987 г., сочиненное Глебом с друзьями, вызвало почту изумительную. Сотни вариантов ответов, среди коих есть блистательные. Веселые и мудрые образцы их я приведу в одном из первых выпусков РБН-1989, целиком посвященном Глебу. А пока — примеры читательского одобрения и просто симпатии.

«Массу удовольствия получила с семьей от кроссворда „Глеб с друзьями''; с семьей — так много „детских'' вопросов, на что должны быть такие же ответы. Мы уже убедились, что ответы могут быть самыми что ни на есть разными, но свежими, с изюминкой, а потому и равноправными с настоящими. Детки моментально подбросили десяток ответов» (Л. Болотина).

«Глебушкин кроссворд самый философский за весь РБН-87. А может быть, так и должно быть — дети задают жизни больше вопросов, чем мы, уже привыкшие к этому миру» (В. Мезенцева).

«Кроссворд был самым головоломным заданием 1987 года. Многие ответы вызывают сомнение, но проверить их как-то (с помощью справочной литературы и пр.) невозможно». (В. Киселев).

Вышел, стало быть, Глеб в чемпионы 1987 года. С чем его и поздравим с традиционным для РБН опозданием! Весомое подтверждение заслуженности успеха — оценка В. Эйхенбаума, единственного читателя, содравшего-таки с меня две копейки (см. № 12 — 1987) за непонравившиеся задания «Весь этот джаз» и «Подражайка».

«Кроссворд Глеба понравился поболе, чем любой другой за 1987 год, несмотря на заметный невооруженным глазом крен в сторону Грузии и ее кухни. Наверное, оттого, что предоставил возможность не только „поэрудировать'', но и пофантазировать. И вообще, я недавно понял, что максимум удовольствия от РБН я получаю в тот момент, когда сверяю некоторые из моих ответов (назовем их 100-процентными) со 150-процентными Вашими».

Приятны последние строчки, однако... две копейки... И не денег жалко, но знали бы, чего стоит их переслать! Однако вернемся к Глебу. Кому-то из его разновозрастных друзей довольно того, что появляется на страницах РБН, а кому-то и мало.

«Мы очень просим рассказать немного о Глебе и Аленке... о своей жизни» (Две Тани с берегов Шексны).

«Хочу еще раз попросить рассказать про родословную и состав семейства Конигоровых» (Б. Лычев).

«Хочу предложить напечатать загадки Глеба. Знаете, есть такая штука, как детские вопросики. А наверняка шустрый мальчик подметил в окружающем мире что-то нелогичное, и только скромность мешает ему вопрошать об этом семейство» (В. Назаренко).

Признаюсь, есть у нас в дому такая книжечка-дневник. Называется «ЖИЗНЬ ДВУХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ГЛЕБА. КРАТКИЕ ЗАПИСИ ЕГО СУЖДЕНИЙ И ПОСТУПКОВ». Записей более четырехсот, каждая от одной до десяти строк. Будет ли кому

интересно? А то бы можно было завести в РБН еще одну комнату — Детскую. А пока — один из множества экспромтов, сочиненных Глебом и ИВ, когда одному из них было три года.

ГЛЕБ. Я руками ел варенье,
чай руками выпивал.
ИВ. Вот и все стихотворенье,
убивает наповал.

2. СМЕНА ТОНАЛЬНОСТИ, ДОЛГ УХОДЯЩЕГО ГОДА

С трепетом и робостью приступал я к составлению кроссворда «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. Часть I. СЛОВО» (№ 5 — 1988). Боялся и того, что вообще никто не станет его разгадывать. Но вот — это не похвальба, а счастливая оторопь — три первых отклика.

«Как в сказке — только пожелала задание по „Тысячелетию", как нерасторопная почта уже принесла Ваш подарок. Половина задания далась легко, зато вторая вымучена, особенно пропуски в цитатах. Первоисточники мне добыть немыслимо, поэтому, не мудрствуя лукаво, решила прибегнуть к помощи словаря Даля. Только „вено" попалось в „Истории древнерусской литературы", а „око" извлекла из оставшейся после дедушки Библии. Место встречи Игоря и Ольги пишу почти наобум. Недалеко от Пскова есть река Великая, которая по буквам вполне подходит, но тогда формулировка пункта „Место встречи..." не кажется мне вполне корректной». (Л. В. Ряднова).

Осмелюсь возразить. По преданию князю Игорю Рюриковичу, охотившемуся возле реки Великой, понадобилось переправиться на другой берег, лодки же не было. И тут в челноке плывет девушка. Она и перевезла князя. Во время переправы, можно сказать, именно посреди реки и решилась судьба князя и будущей жены его Ольги.

«Благодарим вас за выполнение нашей просьбы об историческом кроссворде. Предмет кроссворда нам как раз знаком, но, к сожалению, отсутствие книг — изданий древнерусской литературы сказалось на результатах наших изысканий. Из подвохов „Слова" мы разгадали лишь небольшую дезинформацию о времени жизни „знаменитого редактора" Никона, отважно переделавшего Исуса в Иисуса: сей ревизор религиозных текстов проживал не в XVIII, а в XVII веке. Тем не менее посылаем ответы с радостью от (на наш взгляд) хорошо выполненной работы. Благодарим вас и за то, что интереснейший кроссворд помог нам систематизировать наши сведения о данном предмете». (Колотилкины).

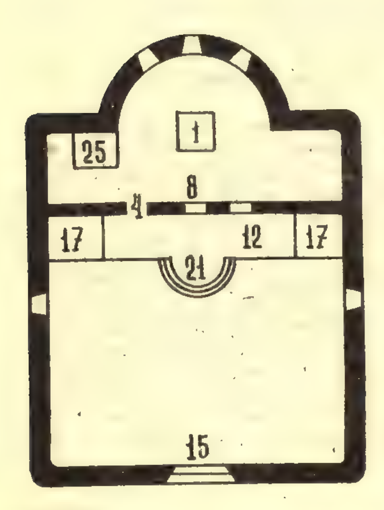
Увы, подвох рожден не мной; омолодил Никона на столетие процесс редакционный.

«Вы вновь сумели помочь мне (и, уверен, многим другим) заглянуть в еще одну сокровищницу, знакомую понаслышке. Поиск был занимательным, но крайне сложным. Евангелие от Матфея в библиотеках Свердловска отсутствует. Не дали его мне и в Москве, в библиотеке им. Ленина. Буду с нетерпением ждать вторую часть „Тысячелетия"». (В. Киселев).

Сердечное спасибо добрым читателям моим. Сочувствую вашим невольным трудностям. Не сомневаюсь в том, что вскоре начнется переиздание превосходного многотомника «Памятники литературы Древней Руси», а Библия будет издана не только в «Литературных памятниках». Давно пора и «Детской литературе» издать переложение Библии, осуществленное К. И. Чуковским с друзьями. Пока же примите обещанное продолжение задания, посвященного великой годовщине.

Е. К.

ВОПРОСЫ КРОССВОРДА «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. ЧАСТЬ II. ХРАМ»



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. В одном из своих рассказов о праведниках Н. С. Лесков отметил в этом человеке стремление «к безукоризненной честности и даже святости». И вот сто лет спустя, в этом году он действительно был причислен к лику святых. 6. «Когда я вернусь, //Я пойду в тот единственный дом:// Где с куполом синим не властно соперничать ....., //И ладана запах, как запах приютского хлеба,// Ударит меня и заплещется в сердце моем, — // Когда я вернусь» (А. Галич). 7. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею ....., — то я ничто» (Апостол Павел). 10. «И вспомнил я тебя пред ....,// И звал тебя, как молодость свою» (А. Блок). 12. См. рис. 13. Монашествующий подвижник, коего всякий человек мог избрать себе в духовные наставники. 14. «Обыкновенно .... без пламени// Исходит в этот день с Фавора...» (Б. Пастернак). 16. «..... — это Память Божия, в священных недрах

которой есть все, что есть, и вне которой — Смерть и безумие» (Вл. Соловьев). Вспомните и два великих храма — в Киеве и Новгороде. 17. См. рис. 18. Богослужение, совершаемое в случаях общественных бедствий или при воспоминании о них, а также при церковном поминовении об умершем. 22. Мистическое учение, сказавшееся в творчестве Феофана Грека, Даниила Черного и Андрея Рублева. 24. По о. Павлу Флоренскому, та часть физического тела иконы, которая уподобляет ее стене незыблемой. 25. См. рис. 26. Иконописная композиция (трехличная икона, либо триптих, либо непременная часть иконы «Страшный суд»), изображающая Богородицу и Иоанна Предтечу, умоляющих Христа об отпущении грехов рода человеческого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. См. рис. 2. Крупнейший знаток древних распевов и сочинитель церковной музыки XVIII—XIX вв. 3. Великий русский композитор; тем не менее его церковная музыка известна у нас крайне мало. 4 Согласно о. Павлу Флоренскому, зримый образ горнего мира и средостение между ним и миром дольним. См. рис. 5. Главнейшее из христианских богослужений. 8. См. рис. 9. См. рис. 11. Одно из семи таинств, по учению православной церкви, служащее духовным врачеством для недугов телесных, а также дарующее болящему оставление тех грехов, в коих он не успел раскаяться. 15. См. рис. 19. Первый иконописец; по церковному преданию, им написаны Казанская и Смоленская иконы Богоматери. 20. Верхняя одежда священнослужителя, носимая вне богослужения, в повседневной жизни. 21. См. рис. 23. Киворий, или ...., или балдахин, или навес.

СЕМЕЙНОЕ МНЕНИЕ

Ведет Татьяна Сергеевна

Бездарно потратив отведенную мне площадь в прошлом номере, но так и не дообъяснившись до конца, отмечу лишь, что плюсики становятся все тяжелее. С нового года моя рубрика становится постоянной, придется начать с переоценки шкалы. А пока — хочется верить, последний с таким запозданием — обзор первого за всю нашу историю толстого журнала, перешагнувшего миллионный рубеж.

«НОВЫЙ МИР», второе полугодие 1987 г.
№ 7

Мария Аввакумова. Поздняя гостья, стихи. +++ Пожалуй, ни один журнал не представил огромному числу читателей столько новых, полузабытых и малоизвестных поэтических имен, как «НМ». Усердно насаждавшееся мнение о кризисе поэзии, отсутствии новых талантов было выгодно начальственным бесталанностям, и подкрепляли они это не только словами.

Николай Клюев. Погорельщина, поэма. +++++ Многие механические соловьи выпуска 50—70-х годов куда более известны и печатаемы, нежели творец живого слова Николай Клюев. Трагический конец жизни поэта не вошел еще в национальное сознание как неизбывная беда. Для большинства из нас, отрезанных от фольклорных, религиозных, этнических корней, поэма трудна. И потому словарь-комментарий Н. И. Толстого заслуживает +++.

Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом, роман (№№ 7—10). +++++ Знамение времени: в 1987 году вышли известные постановления о нравственной и юридической реорганизации психиатрической службы, опубликован роман Кизи и прокатился по экранам фильм Формана. Перевод В. Голышева и предисловие А. Зверева превосходны. На мой взгляд, между книгой Кизи и фильмом Формана такая же разница, как между «Борисом Годуновым» Александра Пушкина и «Борисом Годуновым» Сергея Бондарчука.

КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ.++++ Поражает благородство журнала, отдавшего сторонникам дикого проекта больше места, чем своим единомышленникам. Низкий поклон всем бескорыстным борцам против убиения земель и вод. Но долго ли еще горсткам порядочных людей предстоит бесплатно противостоять десяткам тысяч прожирателей народных миллиардов?

№ 8

Александр Кушнер. Срок любви, стихи.+++

Василий Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов. Часть третья.++++ Помнится, когда мы узнали, что две первые части «Канунов» вышли отдельным изданием, мы просто не поверили. Горькая нехватка времени и домашняя библиотека, десять лет распиханная по коробкам, не дали нам прочитать все три части кряду. Не повторите нашей ошибки!

Владимир Леонович. Вопросов нет? Стихи.++++

НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА.+++++

Николай Петраков. Золотой червонец вчера и завтра.++

Ольга Чайковская. Гринев.+++++ «Уменьшать количество зла в мире — вот задача любого из нас...» Эти слова Ольги Чайковской, мне кажется, есть девиз ее жизни, ее творчества и ее человечнейшего «Гринева».

Г. В. Абрамович. Библиотека — для чтения!++

№ 9

М. Кураев. Капитан Дикштейн, фантастическое повествование. +++++ Для меня неопределимо, но внятно повесть Кураева связана (по принципу дополнительности, что ли) с «Собачьим сердцем» Булгакова. Два превращения: безвинного пса в нелюдя и хама — и заурядного обывателя в человека, принявшего на себя вместе с чужим именем нравственную ношу чуждого ему исчезнувшего сословия. Исторические обстоятельства, способствовавшие и препятствующие отнюдь не фантастическим метаморфозам, даны в обеих повестях без обиняков.

Елена Благинина. Да не сокрушится дух, стихи.++

Владимир Солоухин. Похороны Степаниды Ивановны, рассказ. +++

Ярослав Смеляков. Пройдя сквозь эти строки, стихи.+++

Вик. Ерофеев. От крайностей к смыслу.++—

Александр Кузнецов. «Скажи-ка, дядя...» ++++±

№ 10

Андрей Битов. Пушкинский дом, роман (№№ 10—12) +++++

Долго писался роман, куда дольше его фрагменты, его мысли, его герои мыкались порознь в обличии тощих журнальных публикаций и поделеповатых перепечаток (бедная Альбина, помнится, заглянула и на страницы «Авроры»). И лишь когда все бывшее в нас, разрозненное в нас собралось в огромное здание «Пушкинского дома», мы поняли, что это книга про нас. Про всех, кто обстоятельствами места и времени, принудиловкой эпохи и добровольной трусостью выткал себе полиэтиленовые коконы, отгораживающие от истинного бытия, а затем все пытался прорвать их, но тонкие оболочки податливо принимали форму любого нашего движения, давая лишь иллюзию свободы. Одна-две побочные темы романа проведены с необычной для Битова робостью.

Евгений Попов. Рассказы.+++±

Борис Чичибабин. Печаль моих поэм.++++ Богата же страна, десятилетиями державшая под спудом такие стихи!

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ.++++ Что говорить, событие. Но как-то нежданно, видимо, и для составителей веет от подборки академической сухостью.

№ 11

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ. Поэтические подборки оптового свойства — одно-два стихотворения каждого из одиннадцати авторов — хочется верить, уходят в прошлое. Отмечу лишь **стихи Леонида Григорьяна.**+++

Генрих Бёлль. (№№ 11—12) Женщины у берега Рейна, роман в диалогах и монологах. Перевели Н. Бунин и Е. Григорьев.+++ Словно дальняя, грустная и запоздалая весть об умершем близком друге.

Игорь Клямкин. Какая улица ведет к храму?+++— Пролом из лабиринта коридоров и антикоридоров в чистое поле свободной мысли.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ.+++ Жажда документа еще только разгорается. Самое сильное — не сама подборка, а составленные В. Т. Логиновым и Г. З. Иоффе краткие примечания. Жуть берет от сравнения дат рождений и смертей: долгие судьбы эмигрантов — и пристреленные пулями жизни оставшихся.

№ 12

Алексей Машевский. Стройка, стихи.+++

Сергей Залыгин. Рассказы.+++

Вера Маркова. Туманный день, стихи.++

Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью, стихи.++++++ Из редакционной сноски мы узнали, что присуждение Нобелевской премии и публикация в «НМ» — события независимые. Не знаю, что более порадовало сердце поэта-изгнанника, но для читателей, думается, второе событие значительнее.

И. Червакова. Кров, документальное повествование.++

Е. Старикова. Книга о добре и зле, или Смерть Ивана Ильича.++

Б. Семенов. План и стихийность.++

В. Селюнин, Г. Ханин. Статистика знает все?+++

Г. А. Терехов. Возвращаясь к делу Н. С. Гумилева.+++++ Скольких томов и многотомников стоит эта страница! Всего одна страница...

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 10—1988

Можно предположить, что Леночке передавали по телефону вот такую информацию (следите строго по тексту).

1. Ален Рене — «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ». 2. Мурнау — «НОСФЕРАТУ». 3. Лукино Висконти — «НЕВИННЫЙ». 4. Ингмар Бергман — «МОЛЧАНИЕ». 5. Марсель Карне — «ДЕТИ РАЙКА». 6. Бертолуччи — «КОНФОРМИСТ». 7. «ОСТРОВ СТРАДАНИЙ» по «Одиссее капитана Блада» с Эрролом Флинном («Тарзан» ни при чем). 8. Лино Вентура. 9. Шон О'Коннери. 10. Юл Бриннер — «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 11. Тати — «ПЛЭЙТАЙМ». 12. Братья Маркс — «УТИНЫЙ СУП». 13. Тото — «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». 14. Эйзенштейн — «СТАРОЕ и НОВОЕ». 15. Довженко — «ЗЕМЛЯ». 15. Панфилов — «ВАССА». 16. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» — Рязанов. 17. «НЕ ГОРЮЙ» — Данелия. 18. «ПАСТОРАЛЬ» — Отара Иоселиани. 19. «ЛИСТОПАД» — более ранний фильм Иоселиани. 20. «МОЛЬБА» по Важа Пшавеле. 21. «ЭРОИКА» — Мунк. 22. «НЕВИННЫЕ ЧАРОДЕИ» — Анджей (Вайда). 23. Глинского знали не по «КАНАЛУ», а по «ШЛЯПЕ ПАНА АНАТОЛЯ». 24. «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» с оркестром ГЛЕНА Миллера. 26. Леопольд Стоковский — «СТО МУЖЧИН И ОДНА ДЕВУШКА». 17. «ЧЕРНЫЙ ОРФЕЙ». 28. «ЧАЙКИ УМИРАЮТ В ГАВАНИ». 29. «СТАРИКИ НА УБОРКЕ ХМЕЛЯ».

РБН



КОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 69



Вести с книжных полей

КНИЖКА, КОТОРУЮ ДАВНО ЖДАЛИ

Вот, наконец, и вышла первая книжка популярного ленинградского сатирика Семена Альтова «НАБРАТЬ ВЫСОТУ» (М.: Искусство, 1987. — 192 с.).

В книжке около семидесяти рассказов, монологов, фельетонов и пародий. «Комический вестник» с удовлетворением отмечает, что многие произведения С. Альтова, вошедшие в сборник, сначала вышли из нашего журнала. Это такие произведения, как: «Эдвард Беккерфильд-младший», «Человек-птица», «Знаменитость», «Между», «Нарушение», «Орел», «Магдалина», «Эксперимент», «Ежедневно», «На цепи» и др.

Жаль только, что в книгу не вошли еще такие произведения, которые вышли из нашего журнала, как: «Хорошее воспитание», «РВУ-84», «Письмо Зайцеву», «Потапов и Эмилия» и др.

Ровно на столько же жаль, что из нашего журнала не вышли такие произведения, которые вошли в книгу, как: «Хор», «Шанс», «Чужой пассажир», «Киса-44», «Сакура», «Ты глянь» и др.

И уж бесконечно жаль, что не вошли в книгу и не вышли из нашего журнала такие произведения, как «Геракл», «Шведский стол», «Видимомагнитофон» и др.

Хотя многие из сочинений Альтова названы фельетонами, в них, кроме злободневных проблем, затрагиваются и вечные, например: пьянство, воровство, казнокрадство, взяточничество, подхалимаж, мещанство и еще, кажется, хамство в общественном транспорте.

Предисловие к сборнику написал Аркадий Райкин. И это не удивительно: Аркадий Исаакович много сотрудничал с Семеном Теодоровичем, играл (вместе с театром) целый спектакль Альтова — «Мир дому твоему».

Вот что написал об известном сатирике Аркадий Райкин:

«В творчестве Альтова привлекает парадоксальность ситуаций, которые как бы заново освещают то, что стало, увы, обыденным. Богатая фантазия, наблюдательность, ясная гражданская позиция делают сочиненное им современным, интересным. Рассказы, миниатюры, пародии Семена Альтова смеш-

ны, грустны, злы, но написаны добрым талантливым человеком».

И еще выше, если вы читаете книжку с конца, как обычно читают юмор в журналах и газетах:

«Писать смешно, — сказано там же Аркадием Райкиным, — непросто, писать так смешно, чтобы человек задумался: „А так ли смешно то, над чем я смеялся?" — еще сложней. К сожалению, у недостатков, с которыми мы боремся, богатая, уходящая в далекое прошлое родословная. И не одно десятилетие пороки эти обнажались, бичевались, высмеивались. Сказать о них сегодня по-своему, неожиданно, остро способен далеко не каждый. Мне кажется, Семен Альтов способен, ему это удается».

Из книги «Набрать высоту» в полный рост встает не только образ современного отрицательного типа, но и образ писателя. Да, да, не автора монологов, не текстовика, не сценариста, не эстрадного драматурга (или, как сейчас пренебрежительно говорят, «эстрадника»), а именно писателя — Семена Альтова. Несмотря на то, что его произведения исполняли Аркадий и Константин Райкины, Геннадий Хазанов и Владимир Винокур. Несмотря на то, что его произведения звучали в радиопередаче «С добрым утром» и смотрелись в телепередаче «Вокруг смеха». Несмотря на то, что они печатались на самых последних страницах газет и журналов. Несмотря на то, что творческие вечера Альтова проходят при переполненных залах.

Сатирик — тоже писатель. Как писатели — поэт, эссеист, драматург или фантаст. Сатирик — это тоже должно звучать гордо, а не горько!

Поздравим себя и писателя с выходом замечательной книги — книги, которую все ждали много лет!



Рисунок Ю. Кособукина



Вести в конвертах

Читатели «Комического вестника» спрашивают, где можно прочесть и другие мысли донжуана в дополнение к тем, которые привел К. Мелихан в своем трактате «Тихий Дон Жуан», напечатанном в третьем номере журнала «Аврора» за 1988 г.

Они утверждают, что книг, указанных в трактате К. Мелихана, нет ни в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, ни в БАНе (Библиотеке Академии наук). Может быть, они сгорели или утонули?

Мы обратились за разъяснениями к самому автору.

Оказалось, что трактат «Тихий Дон Жуан» — это мистификация, никакие мысли и афоризмы донжуана с испанского К. Мелихан не переводил, а выдумал все сам.

Таким образом, прочесть эти мысли можно только в нашем журнале.

Предлагаем вниманию читателей еще несколько высказываний донжуана (Мелихана), не вошедших в его трактат. Тем более что сейчас все журналы любят печатать то, что было раньше вычеркнуто.

Отрывки из дневника донжуана автор проиллюстрировал сам — картинками, которые он перевел с французского.





Константин МЕЛИХАН
ИЗ ДНЕВНИКА ДОНЖУАНА

Женщина сначала жалеет мужчину, а потом желает его. А мужчина сначала желает женщину, а потом жалеет себя.

С точки зрения женщины, содержательный мужчина — тот, который может ее содержать.

Женщина любит мужчину, потому что он любит ее, а мужчина любит женщину, потому что он вообще их любит.

Путь к сердцу женщины не будет таким долгим, если у мужчины есть автомобиль.

Пища холостяка разнообразней пищи женатого, потому что женатый ест то, что готовит одна женщина, а холостяк — то, что готовят разные.

Мужчина честно признаётся женщине в своих недостатках, когда хочет, чтобы она его разлюбила, но она так восхищается его честностью, что прощает ему все недостатки и любит еще сильней.

Мужчины реже бы обманывали женщин своими обещаниями, если бы женщины реже обманывали мужчин своей косметикой.

Когда человек первым спрашивает: «Ты меня любишь?» — подразумевается, что сам-то он любит и этим вопросом как бы снимает необходимость своего признания в любви. Так бывает, когда не хотят называть вечным словом «любовь» еще одно мимолетное увлечение. И исполнив

так ловко ритуал признания в любви, человек считает себя честным перед собой и перед другим, потому что не высказал ложь. Ему даже не важен ответ. Он только боится вопроса. Так нападает тот, кто хочет предупредить нападение другого.

Если вы хотите жениться на красивой, умной и богатой, вам придется жениться три раза.

Иногда женщина не может найти мужчину потому, что пьяные не нравятся ей, а трезвым не нравится она.

Совет жене. Не можешь приготовить обед, сумей хотя бы приготовить к этому мужа.

Юность сначала влюбляется, а потом ищет — в кого.

Число женщин, которые были у мужчины, — есть величина непостоянная: она уменьшается в его разговорах с женщиной и увеличивается в его разговорах с мужчиной.





На первый брак спрашивайте согласия у своих родителей, а на второй — у своих детей.

Любовь — счастье бедных.

Когда донжуана спросили: «Что вы цените больше всего в женщинах?» — он ответил: «То, что они разные».

С женой тяжело днем, а без жены — ночью.

Поцелуи — морзянка любви.

Не волнуйтесь, если не знаете, где ваш муж был ночью, потому что если узнаете, будете волноваться еще сильней.

Чтобы не надоесть мужчине, женщина меняет платья, а чтобы не надоесть женщине, мужчина меняет женщин.

Чем отличается молодой холостяк от старого? Молодой хо-



лостяк наводит дома порядок, чтобы пригласить женщину, а старый приглашает домой женщину, чтобы она навела порядок.

Лучшие друзья — старые, а лучшие любовники — новые.

Девушку надо уговаривать, а с женщиной можно договориться.

Женщина постарела, если врач ее только выслушивает, а не осматривает.

Любовь — это нервная болезнь: сначала в любимом человеке вас всё волнует, а потом всё раздражает.

От красивой женщины пьянеешь, а с некрасивой хочется напиться.

Чтобы понравиться, говорят ложь, а чтобы разонравиться, говорят правду.

Почему мужчина так неразговорчив с женщиной? Вечером ему есть что сказать, но он не в состоянии говорить, а утром он уже в состоянии говорить, но ему уже нечего сказать.

Хочешь вернуться из отпуска позже — предупреди начальника, а хочешь вернуться раньше — предупреди жену.

Жена, которая не любит мужа, обманывает его тем, что ему не изменяет.

Первым в любви признаётся тот, у кого не выдерживают нервы.

Что не видно днем, то видно ночью. Поэтому первая ночь, проведенная вместе, часто оказывается последней.

Студенту нельзя жениться. Будет заниматься только женой — у него появятся хвосты. Будет заниматься только учебой — появятся рога. А будет заниматься и тем, и другим — отбросит копыта.

Женщина — как крепость: одной можно овладеть после первого штурма, другой — после долгой осады, а третьей — после переговоров.

Женщина обычно бросает мужчину в том случае, если он от нее ушел.



Рисунки К. Мелихана же

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „АВРОРА" за 1988 год

КРИТИКА, ИСКУССТВО



Творчество художника-графика Вячеслава Кундина многообразно: дизайн, иллюстрации к произведениям отечественной и мировой классики, лирический пейзаж, книжные знаки.

Вячеслав Кундин родился в Ленинграде в семье ученого в 1947 году. Постижение мастерства начал в художественной школе, а в 1972 году получил диплом об окончании Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.

Художник постоянно разрабатывает тему Петербурга — Ленинграда. Она отражена и в пейзажах, и в иллюстрациях к «Медному всаднику», и в книжных знаках-экслибрисах для музейных библиотек Петродворца, Пушкина, ленинградского Дома ученых, книжных собраний ученых и библиофилов-ленинградцев. В недавно вышедшем в Москве альбоме «Ленинград в книжном знаке» воспроизведено немало экслибрисов Кундина, занимающих в его творчестве видное место: используя различные техники, художник создал около ста книжных знаков.

Начиная с первого номера «Авроры» этого года, с Кундиным-графиком знакомятся и наши читатели. Им исполнены рисунки для всех рубрик, под которыми выходили материалы этого года, в том числе — и «Нашего вернисажа».

Адрес редакции: 191065, ЛЕНИНГРАД, ул. ХАЛТУРИНА, д. 4.
Телефон: 312-13-23

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию им. Володарского Лениздата.
Отдел технического контроля — тел. 310-57-51

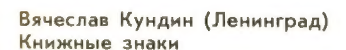
Сдано в набор 29.08 1988. Подписано в печать 04.11 1988. М-25758. Формат 84×108 1/32. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,24. Уч.-изд. л. 12. Печ. л. 5. Тираж 500 000 экз. Зак. 647. Цена 50 коп.
Типография им. Володарского Лениздата. 191023, Ленинград, наб. р. Фонтанки, 57.











Вячеслав Кундин (Ленинград)
Книжные знаки

Адрес подписчика

. . . .

10-45

Цена 50 коп.
Индекс 70033

ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА



Столица Узбекистана прекрасна своими бульварами и площадями, удивительно точным сочетанием объемов новейшей архитектуры с постройками прошлых времен. И уже трудно представить себе, что один из старейших городов нашей страны Ташкент (известен с IV—V веков нашей эры) в 1966 году стал жертвой сильнейшего землетрясения. Сотни жилых домов, архитектурные памятники XV—XVI веков, общественные здания оказались в зоне разрушения.

Восстановление Ташкента стало заботой всей советской страны. В подарок столице Узбекистана братские народы построили миллион квадратных метров жилья, а также много школ, детских учреждений. Строительство определило и контуры Ташкента будущего, в котором классическая форма должна органично сочетаться с традиционным среднеазиатским декором. Пример тому — здание Выставочного зала Союза художников Узбекистана.